A sepia-toned photograph of a courtyard. In the foreground, a man and a woman are walking away from the camera on a path. They are silhouetted against the bright light. The courtyard is enclosed by brick pillars and a wall. Bare trees are visible in the background. The overall mood is nostalgic and quiet.

Наталья Зейфман

Еще одна
ЖИЗНЬ

документальный
роман

Не насытится око зрением.

Екклесиаст

**документальный
роман**

Наталия Зейфман

Еще *одна*
ЖИЗНЬ



Москва 2017

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

347

Оформление, макет – Валерий Калныньш

Зейфман Н. В.

347 Еще одна жизнь. – М.: Время, 2017. – 224 с. – (Серия «Документальный роман»)

ISBN 978-5-9691-1524-8

Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение! И что бы ни описывала Наталия Зейфман: драму эмиграции, собственное детство, поразительные свои провидческие сны или ту часть ее жизни, которая прошла рядом с очень известными людьми – например с Вениамином Кавериним, знаменитым автором книги «Два капитана», – повествование ее написано превосходным языком и пронизано особым сочувствием к тому веществу жизни, которое никогда не устаревает, ибо все мы в конце концов понимаем, что жизнь – бесконечна и прекрасна, а любая эпоха насыщена столь неизменными приметами наших дней, как преданность, любовь, верность памяти дома и семьи, высокая трагедия преходящего человеческого бытия. *Дина Рубина*

ББК 84Р7-4

ISBN: 978-5-9691-1524-8



9 785969 115248

© Н. В. Зейфман, текст, 2017

© К. К. Доррендорф, фото, 2017

© «Время», 2017

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Та моя жизнь, о которой стоит рассказывать, разошлась по текстам этой книги, поэтому здесь только самое необходимое. По образованию я — историк, моя область — Россия XIX века. После исторического факультета МГУ я попала в замечательное место — в Отдел рукописей Ленинской библиотеки (сейчас РГБ), там я стала архивистом.

Мне повезло: я любила свою работу.

В Отделе рукописей прошло двадцать пять лет моей жизни. Почти столько же я живу в Израиле, и здесь моя профессия пригодилась, спасала меня и кормила. На этот раз я оказалась в столь же достойном учреждении, созданном для увековечивания памяти евреев, погибших в Холокосте.

Я не думала заниматься здесь помимо службы чем-то еще, но тут распорядился случай. Звонит телефон, и богатый мужской голос представляется: Марк Зайчик, редактор «Окон» (тогда это было всеми любимое приложение к рус-

скоязычной газете «Вести»). Я не успела удивиться, как он напал на меня: «2002-й год, помните, что скоро столетие Каверина? Мы хотим его отметить! Я ищу человека, который может написать о нем. Мне указали на вас. Можете написать?» Я ужасно испугалась, но увернуться было никак нельзя, и я промычала: «Могу». Тогда он с облегчением бормотнул: «У вас четыре дня». И исчез.

Со мной только так и надо, чтобы времени было в обрез, и я сходу стала писать. Оказалось, что текст будто ждал меня, нужные слова сами выпрыгивали, сюжет готовно поворачивался, а концовка заранее знала, какой она будет. В газете статья называлась просто: «О Каверине», но когда планировалась ее публикация в сборнике воспоминаний о писателе, редактор велел придумать что-нибудь другое — это название подходит ко всему сборнику. Я впала в транс, и это помогло: пощекотав меня в середине груди, со смущенным смешком вынырнул парафраз из Гоцци: *«Любовь к “Двум капитанам”»*.

Через два года — столетие моего университетского учителя, профессора П. А. Зайончковского, кроме своих исторических трудов знаменитого фундаментальными изданиями: «Справочники по истории дореволюционной России: Библиография» и «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях». Мне предложили место в юбилейном сборнике в разделе мемуаров. Все, чем я была ему обязана, подытожилось у меня в названии *«Судьба из рук Петра Андреевича»*.

Потом по телевизору была лекция о свойствах памяти, особенно самой ранней: именно по ней реконструируется личность. Мне тут же захотелось посмотреть на себя ма-

ленькую, но рванувшаяся на свободу память не пожелала придерживаться хронологии, и пришлось дать ей право свободно гулять по времени прожитой жизни. Получились *«Главы из детства»*.

«Еще одна жизнь» тоже получилась случайно. Приехала в гости подруга, которая всегда восхищала меня способностью продуцировать идеи. Она сидела на нашем балконе, обложенная книгами — привезла чемодан книг для очередной работы, но позволяла себе изредка поглядеть на Иорданские горы за голубой дымкой над Мертвым морем. В одну из таких пауз она заявила, что только я, и никто другой, способна описать эволюцию души человека, когда он обрывает одну жизнь и начинает другую в иной стране. Пока она набрасывала для меня тезисы будущей работы, я придумала название и написала два листа текста.

Май 2016

Еще *одна* ЖИЗНЬ

1. Как же оно все получилось?

Остальные уже спустились вниз и ждали у подъезда. Я захлопнула дверь и повернула ключ. «Ага, — клацнула душа, — теперь бездомье». Двоюродный брат Рома, выскоченный рядом со мной, когда-то военный летчик, приподнял меня и переставил к лифту. Шаг внутрь, и лифт неизбежно, как гроб в крематории, двинулся вниз.

Родным и близким, тесно набившим маленький автобус, требовалось предъявить достойное лицо. Не смотреть в окно на исчезающую Москву, отвечать на бессмысленно и неуместно теребящие вопросы. Ведь я заранее знала, как будет страшно, — зачем же, зачем же?.. Так и мама повторяла после приезда: «Я не могу вспомнить, как это началось, как получилось, что мы уехали?»

Моя мама Екатерина Моисеевна Шейнерман, когда «это началось», все удивлялась: «Какая я еврейка? Я русская!» Потом, потом, уже в Иерусалиме, профессионально занимаясь Холокостом, я вспомнила это мамино восклицание — так кричал четырехлетний еврейский мальчик перед расстрельной ямой, обнимая сапог немца: «Я хусский, я хусский!» Однако когда появилась альтернатива: Израиль или Германия, мама твердо — ясно было, что не сбить, — заявила: «В Израиль я поеду, ради Лёни, в Германию — ни за что! Езжайте без меня».

Итак, аэропорт, 30 октября 1991 года. Тут началось совсем уже несусветное: каждый из провожавших желал договорить свое, тянул меня в сторону, да и я, я тоже хотела каж-

дому оставить напутствие... Дочка моей подруги, с которой мы и виделись-то редко, и та вдруг появилась в аэропорту и быстренько оттараторила отчет о последних событиях своей жизни, чтобы спросить, как жить дальше. Я крепилась до последнего, но перед уходом за барьер ткнулась лицом в грудь подруги, всегда по жизни стоявшей рядом, и забормотала: «Я боюсь, я боюсь, я боюсь...»

Уехали на конвейер наши пять сумок из парашютной ткани, чтоб больше вошло, по 20 кг на каждого; мы толчемся около строгой женщины, которая проверяет, сколько у нас долларов, прежде чем выпустить за барьер, куда провожающим хода нет, — они толпой уже пятятся назад. Но трехсот долларов, разрешенных на семью, у нас не будет, поедем без копейки: не можем отыскать квитанцию, что доллары куплены в государственном банке, а не у «валютчиков» (уголовное дело)! Отдаем их брату вместе с оставшимися рублями. Пока муж продолжает искать забытую дома квитанцию, мама шепчет брату, допущенному к последнему барьеру: «Где доллары?» — «У меня в кармане». — «Пусть будут у меня». И он перекладывает их в ее открытый карман — под сочувственно уклоняющимся взглядом молодого милиционера, стоящего за спиной грозной женщины. А она, она не замечает? Прощаемся с братом и уходим за барьер. Отсюда провожающие уже не видны. Мы — эмигранты.

Следующий пост: в молчании молодая светленькая женщина взвешивает и пропускает на очередной конвейер ручную кладь. Последним должен уехать синий мягкий чемоданчик, куда мы сложили, как казалось, самое нужное... но стоп: вес ушедшей клади уже превышен, и чемоданчик должен остаться. Мне страшно смотреть на мамино крас-

ное лицо, на отрешенного сына, да мы еще опаздываем на посадку! Контролерша милосердно не замечает, как мы с мужем дрожащими руками выхватываем из чемоданчика и распахиваем по карманам и пакетам: я — записные книжки, папку с архивными выписками и тетради с начальным ивритом (а любимую тетрадь с французским — для чего взятую? с трудом выпускаю из рук), а муж в безумии хватает паяльник; но забываем — не заметили! — книжку со всеми московскими адресами и телефонами. Заботливо, как подкидыша, притуливаем чемоданчик в угол, жалостливо оглядываемся на него и уходим к самолету.

В огромном «боинге» — широченный, с двумя проходами! — много маленьких детей, веселая их беготня, буфет бесплатный, еда вкусная. После голодной Москвы люди непрерывно туда бегают. Жаль, что Ася и Лёня отмахиваются от уговоров поесть, они погружены в себя. На время полета возвращается простая и ясная жизнь: уже поздно что-то решать и еще рано о чем-то думать.

Летим только до Будапешта, долго ждем в аэропорту, и уже в темноте нас выводят на лётное поле: прямо на него вывален весь багаж, и надо найти свои баулы, а они у многих одинаковые, голубые, купленные у израильского посольства. Нас рассаживают по двум или трем самолетам.

Задолго до Тель-Авива в салоне стало розоветь — мы летели вдоль неопровержимо прекрасной зари, разгорающейся по левому борту.

Израиль! Всю толпу прилетевших рассадили в большом, как ангар, помещении (наверное, это и был ангар), снова бесплатная еда, но попроще — что-то там на крупном хле-

бе, — и ели уже не так жадно. А для души расставлены телефоны, можно звонить кому и сколько угодно, если кто-то в Израиле у тебя есть. Одни друзья у нас были — в Хайфе. Кто-то очень добрый придумал эти телефоны! Вдоль стен шли занавешенные кабинки, в одной из них и нам выписали первый документ репатриантов — мы уже граждане! Молодой веселый чиновник на чистом русском языке спросил, где мы собираемся обосноваться, и, услышав название, похвалил: «У вас хороший вкус!» (И где набрали столько русскоговорящих для всех кабинок?)

После разговора с человеком в кабинке мы вышли в страну с легким сердцем. Но, увы, этого хватило ненадолго. С талонами на такси в руках встали в длинную очередь, и пока она двигалась, настроение падало. Озираясь, я увидела пальмы — зачем эти странные, голые, без ветвей стволы с метелками где-то в вышине вместо кроны, они же не дают тени! Это не дерево, это только знак дерева, это бог знает что... А настоящие деревья остались там, дома... (Не скоро простила я пальмам их неласковые листья и перестала видеть в них знак беды.) Мысль о тени возникла от страшной полуденной жары. Это был настоящий шок: здесь жить нельзя! (Справедливости ради надо сказать, что в тот год была необычно жаркая осень, перешедшая сразу в редкостно холодную зиму.) И еще — под южным солнцем мы стояли в одежде, годной для московского ноября. Но душа, не разбираясь в мелочах, просто обмерла: «Здесь! — жить! — нельзя!»

Мне кажется, что она, моя душа, заранее запуганная мною — на всякий случай, чтобы потом быть готовой к испытаниям, теперь впадала в шок от всего подряд. И это мне дорого обошлось.

Так все-таки, с чего же началось? Как случилось, что мы уехали? И мысли такой у нас никогда не было — уехать, хотя еврейская тема в нашей нерелигиозной семье всегда звучала. Да и как ей было не звучать, когда в разгар «борьбы с космополитизмом» моего отца, Вила Иосифовича Зейфмана, репрессировали, и это стоило ему здоровья и безвременного ухода, а нашей семье — всего того, что досталось на долю других таких же еврейских семей. Звучала, конечно звучала еврейская тема, но никогда — как зов далекой прародины.

Мысли такой не было, пока не заворошился человеческий муравейник, пока, глядя на других, мы не сообразили, что это возможно и для нас. Уже бледнели радости, связанные с перестройкой: вот Горбачев, он говорит не по бумажке, много и ново; вот 86-й год и «Покаяние», которое Абуладзе показывает в Доме ученых, — привез в Москву к юбилею Д. С. Лихачева, и мы с Ниной Щербачевой, моей коллегой по работе в Отделе рукописей ГБЛ (теперь РГБ), измученные безнадежной борьбой с разрушителями отдела, уже на улице, запинаясь от возбуждения, трясем друг дружку: неужели это начало, неужели надежда?! Убрана цензура, пошел поток дотоле сокрытой литературы, нарасхват журнал «Огонек», очередь на Пушкинской площади к стендам с «Московскими новостями», возвращение Сахарова, отмена шестого пункта Конституции. Ельцин сдает партбилет, а потом и моя мама — она с начала войны в партии, — и дома становится тише. Муж, глядя вслед за мамой в телевизор, больше не шипит, сжав зубы: к-к-комму-н-нисты, а Лёня, лет девяти, больше не подходит сзади к креслу бабушки, не закрывает ей ладонями уши, чтоб она на папу не обижалась.

Но муж читает в передовице «Правды», что основные фонды страны трижды выработали свой ресурс, и втолковывает мне — это дороги, подвижной состав, коммуникации, трубы, здания, все обеспечение производства... Я криком кричу — но ведь пришли новые люди, мы дожили до надежды, как же уезжать?! А муж: коммунисты своего из рук не выпустят, как бы ни звали тех, кто придет к власти, даю, говорит, пятьдесят лет на полный развал страны, прежде чем она начнет возрождаться, так зачем ради нашей любви к русской культуре, к этой земле оставлять здесь детей? И наконец, пытал он меня, что ты себе скажешь, если Лёня при отсутствии нормальной еды и нормальной медицины (не было даже препаратов для анализов, и врач, глядя на результаты, полученные по большому блату в лучшей больнице, сказал: «Если бы это было правдой, ребенок сейчас передо мной бы не стоял») не переживет подросткового возраста?

Лёня пошел в школу восьми лет в четвертый класс (за три сдал экстерном). В конце года мы пытались, размахивая его табелем, полным одних пятерок, перевести его в языковую школу. Полистав таблицу, завуч пропела: «А нам любые дети дороги!» В РОНО того пуще: «А что вы радуетесь, что у вас ребенок такой развитой? Вот у нас один прочел всего Ленина и сошел с ума!» Наверное, надо было заплатить? Или фамилии не подошли?

А еда и все остальное... Из всех пустых магазинов в памяти застрял один, обувной на Калужской площади: в зеркалах над длиннейшим рядом витрин отражались одни только резиновые галоши, давно вышедшие из употребления.

«Визитная карточка покупателя» — картонка с моей фотографией и данными сына на обороте, двумя печатями — по печати на каждого. Я сохранила ее на память (а может, до последнего боялась с ней расстаться). Такие выдавались москвичам по месту жительства, чтобы отсечь голодную глубинку, без них касса не выбивала чека, а сына иногда требовалось предъявить, тогда я звонила домой из автомата: «Пусть Лёнька бежит ко мне в молочный». В пустой зал пропускали группками, когда туда ввозили коляску, к примеру, со сливочным маслом. Люди неслись к ней, чтобы сквозь прутья и через головы вслепую вытащить упаковочку. Незадолго до отъезда кто-то предупредил нас, что завтра выбросят масло на Малой Бронной, мы поехали туда ночью — и не напрасно, потому что успели на каждую руку получить по номеру чернильным карандашом. Потом узнала, что той зимой в Ленинке в залах было холодно и темно; нужно было приносить свою лампочку для настольной лампы и регистрировать ее на входе — иначе не дадут вынести.

И люди стали злыми. От нашего дома до метро «Динамо» было остановок шесть. Я как вошла в автобус, так и не смогла развернуться, и на последней остановке меня выдавили из двери, и я упала на лёд спиной и головой. Еще одну сцену я тогда долго переживала: иногда на чашу весов ложатся пустяки, этот лёг в пользу отъезда. Поезд в метро внезапно затормозил, меня понесло спиной вперед к концу вагона, а там у двери, — миловидная женщина, она выставила навстречу моей спине кулаки — не руки, чтоб поддержать, а кулаки, и непримиримо злым было хорошенькое личико, когда я извинялась.

Мелочи и важное — все путается при усилии сообразить, почему мы решили уехать. «Кто решает, тот уже решил», — говорила моя подруга Мариэтта Омаровна Чудакова, филолог и писатель. Из Отдела рукописей мне пришлось уйти (проработав в нем четверть века!), я не могла там оставаться после творческого вечера Мариэтты в ЦДЛ, где я дважды вышла на сцену, чтобы опровергнуть мерзкую клевету моего прямого начальника Дерягина, тогдашнего заведующего отделом, на Чудакову и на бывшую заведующую, С. В. Житомирскую. Меня взял к себе в библиографический отдел Виктор Иванович Харламов, замечательный человек, рано, увы, ушедший из жизни; у него уже работала и рекомендовала меня ему Ира Березовская, одна из моих коллег-рукописников, вытесненных разными способами из отдела. Харламову пришлось ходить по кабинетам, выпрашивая меня к себе, а ему отвечали: «Вы понимаете, кого берете? Они же там живут с пальцами мирового сионизма на шее!» Я оставалась последней еврейкой в отделе, значит, пальцы были мои. Он настоял на своем, а через год, когда я спросила, не повредит ли ему мой отъезд, заверил, что нет, не повредит.

К тому времени народ стал двигаться кто куда. Две пары наших друзей после разведывательной поездки в Израиль одинаково говорили, что человеком чувствуешь себя только там. Их восторги нас растормошили. Летом 1990 года мы подолгу сидели на крыльце своего деревенского дома в Кубринске Ярославской области, смотрели на яркую зелень лужайки или на закат (он там, по Паустовскому, всегда «горел и никак не мог погаснуть») и решали, что выбрать: выращивать свою морковку и наслаждаться лужайкой или уехать, работать и увидеть мир.

А тем временем надежды блекнут. Как грубо, позорно Горбачев обрывал Сахарова на съезде народных депутатов! Сахаров умер. А как распространяется антисемитизм! Говорят, что в Ленинграде особенно. Мы едем туда проститься с подругой и с городом, и в метро муж поворачивает меня лицом к двери, где поверх «не прислоняться» наклеен призыв к жидам убраться восвояси.

Скоро все понеслось вскачь. Вроде все решено, а внутри меня все скорбит и бунтует. В Москву приехала выставка из Израиля, на ней представлены в куколках сцены из Ветхого Завета, а в надписях странно звучащие имена: что это за Ривка? С выставки зовут перейти в зал, где под гитару будет петь израильтянин. Пока он не начал, мы с мужем и Мирой, двоюродной сестрой из Киева, потихоньку болтаем. «Мирка, — спрашиваю, — как ты думаешь, длинные ли у них там рождественские праздники?» — «Наташка, — бацит сестра, — ты что, какое у них Рождество?!» И я вдруг плачу — от ужаса перед полной переменой культурного антуража. Запел певец, и вскоре я уже плачу от его незнакомых, щемящих, прекрасных песен — на иврите, а может и на идиш. Пока не стали учить иврит, мы не понимали разницы. Но потом очень смеялись над подругой, Лилией Намовной Белинской, украинкой по маме и паспорту, когда она торжественно притащила нам к отъезду тяжелый том идиш-русского словаря: «Смешная ты, Лилька, там говорят на иврите». Кстати, ту мою подругу, которой перед отлетом я шептала «Боюсь, боюсь», зовут Валерия Леоновна Лейбович, Лера, и паспорт ее не прикрывает, но она тоже, как моя мама, твердила тогда: «А я-то, какая я еврейка?» Они с мамой накручивали туалетную бумагу на посуду и всякие ме-

лочи: прошел слух, что в Израиле с ней трудности, — ну, это нам понятно! Слух оказался дурацким, но мама, распаковывая вещи, бережно скручивала бумагу обратно в рулончики: жалко выбрасывать! Она сидит, а Лёня на полу расправляет скомканную ленту и подает ей.

Эта картина отвлекла меня от темы, — я собиралась только показать, какой была наша московская еврейская среда. Впрочем, мой муж — Константин Константинович, вовсе не еврей, в нем русская кровь с четвертинкой немецкой, еще времен петровских аптекарей; последний из них, дед Кости Пауль-Иоганн Доррендорф, так до конца и работал провизором в знаменитой московской аптеке Ферейна. Когда мы с мужем в первый (и в последний) раз пришли в синагогу на Архипова посмотреть, как это — много евреев, старик у входа дал ему кипу, спросил фамилию и уверенно сказал: немецкая! А мальчишки в нашем городке под Иерусалимом в начале 90-х кричали ему: «Ельцин!» — это правда, он похож сединой, статью и русским лицом. Родители мои Костю любили, но мама довольно долго с опаской задавала мне один и тот же вопрос: «А как Костя относится к евреям?» И я терпеливо отвечала: «Мам, ну он же на мне женился!» Кстати, детей наших дразнили по-разному. Ася лет в шесть плакала: не хочу быть евреем, а Лёня, еще младше, пришел как-то со двора удрученный: не хочу быть фашистом!

Мне трудно разлепить комок предотъездных событий. В январе 1991 года вышел президентский указ о разрешении приватизировать жилье, тогда же Германия объявила о приеме советских евреев (поводом к этой затее стал рост антисемитизма в Союзе). Костя как-то быстро приватизи-

ровал нашу квартиру на «Динамо» (как раз за три тысячи рублей, которые были на сберкнижках). Вскоре на квартиру объявился покупатель — представитель какой-то германской фирмы, бизнесмен, женившийся недавно на советской гражданке, на которую оформилась бы покупка. Мы были у них дома, для разговора. Хозяин заодно хотел приобрести и пианино «Бехштейн», купленное в комиссионке на деньги Костиного дяди для Лёни — ради его абсолютного слуха. Галина (так звали молодую жену немца) усадила нас за большой круглый стол и налила чаю; на столе стояла только сахарница с трубочкой, отмеряющей порцию. В открытый проем были видны кухонные полки, заставленные красивыми коробками с едой. Немного погодя Галина присоединила к сахарнице чайное блюдо с просчитанным печеньем на доньшке. Однако немец был в нас заинтересован, и благодаря ему мы одними из первых подали документы на выезд в Германию как еврейская семья (в посольстве сказали, что по еврейской линии семья уедет обязательно, а по Костиной, немецкой, — пока проблематично).

И вот немец везет нас в огромном «мерседесе» в свое посольство, там в назначенное время за нами выйдут. Мы едем под изумительные еврейские мелодии сестер Бэрри — это его любимая запись (сумасшедший дом!). Зима, мы топчемся в ледяной каше, а встречающий, с которым он договорился, запаздывает, всего-то минут на десять, но пухлые розовые щеки нашего немца багровеют и, когда он начинает топтать ногами, — трясутся; мы даже испугались! Наконец нас забрали внутрь, а он в ярости уехал.

Ряд стульев, где мы сидим, ожидая очереди, а напротив ряд дверей, спуют люди, звучит знакомая по фильмам, на ко-

торых мы воспитаны, немецкая речь, и мы робеем, чувствуя себя разведчиками в тылу врага. Я вспоминаю: когда мы с Мариэттой были в туристской поездке по ГДР в 1974 году, я так же пугалась военных оркестров в немецкой военной форме в городках, которые мы проезжали, — был Первомай. Непрошенное напряжение росло во мне. Вот, догоняя группу, я бегу по пустой дворцовой аллее, только высокий красивый человек идет навстречу — немец? Мы встречаемся взглядами, и я думаю: увидел ли он, что я еврейка, недоброшенная в печь? Почему, за что? Ведь так далеко еще было время, когда я с головой окунусь в тему Холокоста... То путешествие кончилось для меня тяжелым конъюнктивитом, и наш гид (звали его Фриц), сдержанно ненавидя меня, должен был искать врача. Ласковая врачиха дала пенициллиновые капли, и от них началась такая аллергия, что дальше я Германию почти не видела. Будто кто-то запрет наложил: туда не ходи!

Но вот нас зовут, мы идем к окошку, а за ним сидит человек, похожий на того, в аллее, европеец в лучшем смысле этого слова. Он профессионально любезен, но еще, кажется, и сердечен, от разговора с ним наше напряжение уходит. Документы он забирает, о сроках ничего определенного сказать не может.

Время идет, Германия молчит, общая ситуация мрачнеет, и Костя решает не ждать, он заявляет, что уважает и любит Израиль и вообще хотел бы жить у Средиземного моря. И он едет на Ордынку и бросает в жестяной ящик на стойке ворот голландского посольства, давшего приют израильскому консульству, вырванный из ученической тетради листок с перечнем и данными всех членов семьи.

Очень скоро я вытащила из почтового ящика необычный узкий длинный конверт — удар в сердце, жизнь кончается. Это называлось «вызов», Израиль рассылал тогда такие приглашения от мнимых родственников, если не было настоящих, для советских властей это являлось основанием для разрешения на выезд. Нас «вызывал» кто-то из города Петах-Тиква (Ворота Надежды — название обнадеживало). Надо было начинать действовать, но я оттягивала день за днем заявление об уходе с работы.

Помогла моя подруга Ира Березовская, с которой мы в то время просматривали каталоги спецхрана ГБЛ, выявляя издания для библиографии Русского зарубежья. (Заодно открывалось, какие темы засекречивались в советские времена — например, то, что касалось общепита; и что за тайны там скрывались? Смотреть было некогда.) Наверное, тяжело было видеть мое страдальческое лицо. Однажды Ира внезапно встала, отбросив стул, схватила меня за руку: «Ну, пойдем!» И мы пошли по длинному туннелю из нового здания библиотеки к старому, Пашкову дому. Сколько раз я ходила здесь! Она довела меня до отдела кадров и ушла. Делать нечего, я вошла к кадровице и написала заявление. Она: «А вы не боитесь туда ехать?» Я: «А вы не боитесь здесь оставаться?» Вот и всё. *«Всего и делов-то»*, — как сказала бы Валентина Ивановна, моя свекровь.

Была еще одна трудность — мама. Она ведь не хотела ехать, хотела остаться с Юрой, сыном, и мы поехали к нему за решением. Он твердо сказал: «Они твоя семья, ты должна ехать с ними».

А нам добавил: «Проживете еще одну жизнь».

Сейчас, через двадцать три года, мы, как обычно, собираемся с внуком на лето в Россию, и я слышу тот же вопрос: «А вы не боитесь туда ехать?» А я и вправду побаиваюсь и придумываю себе пути спасения.

Дальше тоскливая пора — расставанье с родными вещами, слетевшимися к нам из поколений; вспомню некоторые. Икона Богородицы в серебряном окладе с нимбом из речного жемчуга — ею благословляли к венцу Костину бабу, Анну Петровну, и есть фотография их с дедом в коляске. Молодая бабушка на коленях держит эту икону. Портрет деда брата работы С. Криволицкого, всегда висевший в изножье Костиной кровати; когда портрет продавали, в магазине очень сожалели об уже проданных его нагрудных знаках выпускника Императорского технического училища, это придало бы портрету историческую ценность. Но мы тогда мало что соображали, у нас отшибло душу, иначе было бы совсем трудно. Знаки были такие: один большой, с куриное яйцо, бронзовый, с рельефно выступающими буквами ИТУ поверх герба училища, и повторяющий его малый, золотой, на лацкан для повседневного ношения. Пробы на нем не было, поэтому в скупке его потеряли о камень и оценили как золотой лом. Подписные фарфоровые портреты-шаржи Кукрыниксов: один — узкий столбик черного фрака над жилистыми кистями пианиста, расширяется к плечам и венчается белой лысой головой Прокофьева; и два бюста: Качалов в пенсне и то ли Москвин, то ли Тарханов.

Множество подобных прелестных вещиц наполняло комнату Зинаиды Павловны, Костиной тетки, я часто вечерами у нее сидела и каждый раз углядывала что-то новенькое:

«А это что такое?» — и тетя Зина отвечала: «Да всегда тут». А статуэтка, стоявшая на туалетном столе у Костиной матери: фигурка женщины, натягивающей чулок... Кузнецовский бисквитный фарфор... Женщина сидит, слегка наклонившись, рубашка соскользнула на локти, тонкий профиль, обнаженные плечи, такие мягкие груди... Фигурка стояла, и мы никогда не спросили, от кого она пришла в дом. Но — стоп! «Не спросили» — это особая тема, и о ней как-нибудь в другой раз.

А книг... Костя подсчитал, что он свез в букинистический больше двух тонн. Особенно он до сих пор горюет о первом издании «Двенадцати» с гравюрами Анненкова, сам купил когда-то, да еще о лежавшем всю жизнь в ломберном столе его тетки первом номере имажинистского журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» с первыми публикациями стихов Есенина... Множество классики издательства «Academia»... Пластинки... И древние вещи, которые снесены в Музей декоративно-прикладного искусства в Леонтьевском: рулоны кружев, привезенные Костиной бабкой-портнихой из Парижа, — она держала модное ателье в своей квартире на Большой Никитской против Газетного переулка; и приданое моей бабушки начала века — скатерти, вышитые мережкой, в том числе самой бабушкой, кружевные накидки на подушки и крупной вязки тяжелые покрывала на кровать, те самые, под которые я, приходя из детского сада, заглядывала: «Волк есть?» И отданные в Исторический музей три тети-Зининых чашки с росписью Чехонина; на двух из них — зашедшаяся в крике мужская голова с огромным провалом разинутого рта и вздыбленными волосами... Дежурный комплектатор выставила все три

перед собой, подвигала, полюбовалась, спросила: «Блюдец, конечно, нет?» — «Почему нет? Есть». — «Давайте!» Блюдца к этим чашкам были без росписи, невзрачные, но она без колебаний расставила их по местам.

Из-за этих хлопот мы редко ездили на дачу. Дом был в 150 километрах от Москвы, а машина барахлила, и дорога от Загорска была неважнецкая. (Мне иногда казалось, что Костя хочет бежать и от этой проржавевшей машины, и от изматывающих поездок, и от дома, в котором за пятнадцать лет мы не собрались обветшавшие обои переклеить.) Мама летом 1991 года жила с внуками одна и однажды, когда мы приехали, сказала, что ее пугает сосед, наследник Надежды Андреевны, с которой мы мирно прожили долгие годы, даже калитка была между нами в заборе. Соседка немножко подворовывала яблоки — пустяки, зато плела из нашего тряпья милейшие половики. Один такой мы ностальгически увезли в Израиль, но он давно износился. Неведомо откуда взявшийся ее наследник кричал маме из-за забора что-то вроде: «Вот мы возьмем власть и с вами разделаемся!» (довольно скоро его свои же и прикончили). Его угрозы согласовывались с ходившими по Москве разговорами, будто еврейские квартиры помечаются особыми знаками.

Помню, как стою и пристально вглядываюсь в заросли любимых покойной свекровью золотых шаров, они уже высокие и крупные — значит, август; прикидываю, будет ли виден там Лёнька, если спрятать его в середину. И в Москве я приглядываюсь к дому: Лёню можно спрятать на антресолях, они глубокие, а потолки высокие. А вот Асю куда? Она уже большая.

Ну, тут и путч. Костя сразу рвется к Белому дому, а я встала у двери и расставила руки: квартира продана, багаж отправлен, всем известно, куда мы уезжаем — случись чего, что я буду делать с детьми и восьмидесятилетней мамой? Тогда же, 19-го, звонит подруга, соратница по битвам за Отдел рукописей Нина Щербачева и, рыдая, просит простить ее за то, что, пребывая в надеждах, уговаривала нас не уезжать. И вдруг, упавшим голосом: «Если что, мы вас у себя спрячем». — «Угу, а с вами тогда что будет?»

Кстати, к проблеме памяти: Нина помнит только первую половину этого разговора, когда она рыдала, а я — только вторую: сегодня, 5 июня 2014-го, говорили по «скайпу» и грустно смеялись над тем, в каком мире мы теперь живем...

Но тогда все обошлось, после провала путча энтузиазм был необыкновенный, а мы — мы как бы уже отделены стеклом, у нас свои дела, предотъездные. Начинали учить немецкий, Косте нравилось, ему казалось, что помогает четвертушка дедовой крови, а мне помогал короткий факультатив, взятый в университете (где мы с Лерой за что только ни хватались: немецкий, итальянский, греческий). Но теперь пришла пора иврита! Полулегально, в полуподвале (там было несколько классов), а иногда у кого-нибудь на дому нашу группу обучал невысокий хрупкий еврей из разведывательной школы КГБ, он говорил, что это разрешенный заработок. На наши стенания он отвечал, что иврит — пустяки, а вот полдня проговорить на арабском! Приятно было, конечно, что русский алфавит начинается с тех же древних букв, только у евреев называются они ина-

че: алеф, бет, гимел, далет, да порядок слов в предложении столь же свободный. Но слова были чужими, никакой индоевропейской зацепки. Мы уходили с Костей в Петровско-Разумовский парк, там легче зубрилось. Для ужасного слова «лехитхатен» (жениться) я придумала мнемонику: «лежать в хате». Но иногда мнемоника вредничала: слово «ликро», в котором слышалось «корябать», я норовила переводить, как «писать», и не могла запомнить, что это — наоборот! — «читать». Дома мы вешали на чертежную доску карточки со словами, на ней долго висели случайно сошедшиеся «моледет» (родина) и «хинам» (даром), мы на них со значением поглядывали.

Еще я хожу на курсы психологической помощи отъезжающим (мужу это не нужно); «Сохнут» приглашает на встречу с представителем Израиля — помню только жалобный вопрос из зала, там человек сто: как вы там в Израиле выносите свою жару? — и неожиданный ответ: это у вас, в Москве, невыносимая жара, такой в Израиле не бывает! (Ну-ну! это несколько утешает. Надо сказать, что в те дни в Москве жара была действительно невыносимой.) Тогда в ходу был анекдот. Один еврей говорит: «В Израиль ехать нельзя, там сорок градусов в тени!» Другой отвечает: «Так не ходите в тень!»

Еще какой-то просторный зал, здесь надо заполнить анкеты и пройти проверку — разговор с представителем консульства. Нам достается окошко, где сидит дама высокого ранга. (Не она ли потом была послом Израиля в России?) Это фильтр на еврейство: нет ли подлога. Не каждый проходит этот фильтр. Она начинает с мужа, окошко высоко, ему по росту. Вглядывается в лицо и спрашивает: «Вы еврей?»

Костя отвечает, что — нет, русский, и она: «Молодец!» Видно, многие ввали. «Да вот жена, — жалуется Костя, — боится ехать». И приподнимает меня к окошку, чтобы было видно мое заплаканное лицо. «Ну что вы, единственное огорчение, которое вас там ждет, это что вы не будете похоронены вместе (пропускаем это мимо ушей). Вам придется очень тяжело, но дети потом будут целовать вам руки за то, что вы их привезли». Костя: «А у нас сын талантливый, учится на два класса выше возраста». «Ну вот видите, вы еще и национальное достояние везете!»

И вдруг за девять дней до дня вылета в Израиль из почтового ящика в подъезде выпадает простенький конверт с адресом, написанным Костиной рукой, и... со штампом посольства Германии.

Мне казалось, что его сейчас хватит удар. Таким я его видела через десять лет, когда в путешествии по Европе мы въехали в Германию, и радио переключилось на местную волну: пошла такая музыка, такого качества, что он побелел. Я промолчала, и только когда покидали Германию, спросила: ты жалеешь? Он ответил: тогда, может, и стоило ехать, сейчас — поздно.

В письме был вид на жительство для всех пятерых в Баден-Вюртемберге, как мы и просили. Европа, против смутных представлений о жизни у Средиземного моря, выигрывала настолько сильно, что мы всерьез задумались — не развернуться ли, несмотря на мамино «Ни за что!», на грозящую неустойку за уже проданную квартиру и на багаж, уже отправленный в Израиль, — но в сознании зазвучали предостерегающие голоса. Мариэтта Чудакова предупреждала, что

мне в Германии на каждом шагу и по каждому поводу будет мерещиться антисемитизм и что нас, иммигрантов по еврейской линии, «уж заставят там быть евреями», а в Израиле мы сможем сохранить свой светский характер жизни. Плюс еще и Гарик Суперфин, знавший меня по Рукописному отделу и к тому времени давно работавший в бременском архиве, сказал ей, что Наташа не найдет в Германии работу по специальности, а на Израиль определенные надежды были (рекомендательные письма той же Мариэтты).

Впереди было девять дней, и я боялась слово вымолвить, чтобы не помешать мужу принять решение.

Так как же получилось, что мы уехали? Вот так и получилось.

В результате мы стоим в очереди на такси и мы в ужасе от жары. Наконец подъезжает обычная пятиместная машина — а как мы поместимся с нашими пятью баулами? Темнолицему мрачному водителю мы не интересны — все заранее оплачено. Он взваливает поклажу на крышу, нас взглядом не удостоивая: о чем говорить с белокожими немтырями? А маршрут ему распорядитель очереди уже дал — на Иерусалим и, минуя его, дальше на восток к поселению Маале Адумим (Красные Холмы). Муж потом писал об этом отъезде из аэропорта:

По ногам — тропическая вьюга,
В багаже — игрушки да утиль,
Ровно в три отъедет шоферюга
И затормозит на полпути.

Он действительно доехал только до Иерусалима, свернул в проулок, вылез из машины, а его место занял другой, по-молочее и еще страшнее (все это молча!). Он повез нас дальше, в пустыню, к неведомому новому дому.

Невесело смотрела на нас дорога... Старое выщербленное шоссе без фонарей, две машины едва разъедутся. Что пустыня эта — Иудейская, и дорога от Иерусалима к Мертвому морю — древняя, а в таком виде она со времен Британского мандата, а может, Османской империи — это мы узнали потом (теперь же, спустя двадцать лет, это ярко освещенное шикарное шоссе в шесть рядов). Дорога круто сваливалась в пропасть все ниже и ниже, по обочинам кучи мусора и вокруг холмистая вся в камнях грязно-желтая пустыня. Мы сидели ни живы ни мертвы. Доехав до самого дна ущелья, машина начала подниматься к домам, видневшимся на гребне высокого холма. Свернули в город, надо искать улицу под хрустким названием Хацофра. Водитель ничего не знает, на улицах в эту жару ни души, блуждаем. Но — в первый раз (а сколько потом было этих «разов»!) нам повезло: на дорогу выскочил мальчишка и оказался как раз сыном нашего будущего квартирного хозяина. Его имя прозвучало знакомо: Герцль — по фамилии основателя сионизма и такой же красавец... Кажется, он помог снять наши сумки с багажника, и водитель, старательно не глядя на нас, уехал. Сколько таких навьюченных такси разъезжалось тогда каждый день по стране...

Дом Герцля был недостроенной виллой в два этажа, верхний он наспех приспособил под жилье. Туда вели шатающиеся каменные ступени, окруженные колючками. На верхней площадке — замусоренное подобие клумбы и железная

дверь, не доходящая до пола. Открыли дверь и вошли в пустое помещение.

Вот и все, приехали. Мы — дома.

31 октября 1991.

2. Нистрашного

«Нистрашного!» — говорил мой трехлетний внук, когда случилось что-то неожиданное и неприятное. Однажды он нечаянно толкнул заварной чайник, и на стол пролилась черная жижа. Он испугался, что сотворил что-то ужасное, и я скорее стала собирать лужицу, приговаривая: «Ничего страшного, ничего страшного!» После сна он снова сел за стол, показал на чайник и много раз, заглядывая мне в глаза, повторил: «Нистрашного!» Мы с тех пор тоже так говорим.

Не на снег же нас выкинули из промерзшего вагона! Нам дали на год денег на съём жилья, дали на покупку холодильника, стиральной машины и газовой плиты; в «корзину абсорбции» входило еще пособие на полгода жизни и на изучение языка. Мама сразу получила пособие по старости, на него мы и будем пока жить; кто знает, когда мы найдем работу. Главное — успеть выучить иврит, без языка какая работа? Нистрашного, только бы сейчас освоиться в новом доме и не задумываться, что дальше будет.

Да, а тут, куда мы вошли, оказывается, диванчик стоит, а в другой комнате — сдвинутые два топчана, связанные ножками. Нистрашного! А «страшного» — сам этот прыжок через пропасть, очертя голову, за один день, от московского

родного дома в пустую коробку в пустыне. И всё по своему хотению, и обвинить некого!

Большая удача, что есть с кем поговорить: прежние жильцы дometали свой мусор, они уже вывезли все приобретенное ими за год. «Зимой в доме было холодно, — предупреждают они, — а сейчас вам надо бежать в банк, чтобы успеть открыть счет еще сегодня, в последний день месяца, и получить деньги за этот месяц. Дочка вас проводит. И где магазин, покажет». И вот мы бежим за девочкой к банку дорогой такой причудливой, что обратно ни за что не вернешься (городок построен на холме, и улицы вверх-вниз, кругами и петлями, повторяют его рельеф). Как мы справились в банке — не помню, а супермаркет потряс чудовищным разнообразием. Только все на иврите.

Девочка со сказочной сообразительностью довела нас обратно до дома, они уехали, и мы остались одни.

Мама уже достала из сумок посуду, взятую на первое время, но где есть, где спать? Смеркалось, а Герцль со своего нижнего этажа не появлялся, — видно, это было не его дело.

И вдруг с улицы прямо по целине, вверх по холму, на который выходило наше помещение, взобрался грузовик с большим кузовом, и два проворных человека стали заносить в дом и расставлять по комнатам кровати и разномастные стулья, а под конец втащили длинный узкий стол на каркасе из гнутых труб с пластиковым покрытием. Кровати тоже были немудрящие — железная рама с решеткой для фанерного листа с поролоновым матрасом.

Они уже уходили, когда я очнулась и спросила на своем жалком иврите: «А почему нам?» Один ответил, исчезая

за дверь: «Потому что вы евреи!» И я почувствовала себя польщенной: за это кровати дают?! И вспомнила вдруг — а я об этом совершенно забыла! — что мы тут потому, что мы евреи.

Что за организации стояли за этой заботой, кто давал сведения о прибывающих, я тогда не знала. По всей стране развозили такие кровати, они назывались «олимовские», потому что мы были «олим», то есть «поднявшиеся»; когда люди становились на ноги, они эти кровати выносили к мусорникам. Я накрутила из теплых вещей подушек, в сумках были легкие одеяла, и мы разошлись по комнатам: мама с Лёней в меньшую слева, Ася в комнату побольше направо, а мы — в еще большую, напротив нее, где стояли два топчана.

А утром! Я открыла глаза и увидела пустые беленые стены, плиточный в крапинку пол из мраморной крошки и за нашим окном — белое солнце над голой пустыней. Пустыня обступала городишко со всех сторон: на запад — до Иерусалима, а на восток — до Мертвого моря, за ним из окна были видны горы Иордании. Совсем как в еврейском переложении Михалкова: «А из нашего окна Иордания видна, а из вашего окошка — только Сирии немножко».

Когда в последний раз мы ехали на дачу, по дороге решили остановиться и попрощаться с родиной; поднялись на косогор, оттуда за огромным полем были видны полоски леса, поближе зеленая, подалее голубая. Костя сказал — вот там будет Сирия, а на том расстоянии — Иордания. И я застыла: здесь, на зелёном поле, в это невозможно было поверить.

Два следующих дня не очень помню. Впрочем, приезжала энергичная толстая тетка с собранными под косынку волосами и в длинной юбке (религиозная, поняла я) и давила на нас, чтобы отдали Асю в религиозную школу с общежитием и полным обеспечением. Мы растерянно отнекивались, пока не пришла Ася и не крикнула «Нет!». Она весь день сидела на каменной завалинке у соседей, бывших киевлян, болтала с ними, в том числе с девушкой постарше себя, и много нужного разузнала — в частности, что в Иерусалиме есть годичная школа иврита для молодежи. Туда она и стала ездить. Весь день она была на солнце, и я страдала, что сгорит, но радовалась, что веселая.

Потихоньку что-то еще происходило: вечером пошли пройтись и разговорились с приехавшей годом раньше молодой парой, что имело два последствия. Пользуясь нашим невежеством, они всучили нам за бессовестно огромные деньги старый советский телевизор (у них уже был новый). Его мы поставили к Асе: «если вы хотите, чтоб я быстрее выучила иврит и английский» (так и вышло, английский она «сняла» с телевизора). Те же люди показали нам на школу рядом и посоветовали завтра же пойти с сыном к директору. Так и сделали; что-то из иврита, выученного за три месяца до отъезда, Костя Лёне передал, и он ответил на вопросы директора, хотя был зеленый от напряжения. На наше: «Ему одиннадцать лет, но он учился в Москве в восьмом классе» директор сказал, что Лёня пойдет в шестой, здесь принято учиться по возрасту, а там посмотрим. Сердце екнуло: «Привезли национальное достояние!»

Школа была полурелигиозная, и на следующий день Лёня пошел туда в кипе, прикрепленной к волосам специ-

альной заколкой; каждое утро начиналось с молитвы. Кипа и заколка постоянно терялись, но на кусте каждый раз висела новая, а заколка валялась под ногами. Мы впервые тогда заметили, что кто-то сверху за нами приглядывает. Хотели было доказательства записывать, настолько они бросались в глаза, да так и не собрались — к хорошему привыкаешь; но многие удивительные совпадения и встречи забыть нельзя.

«Израиль — страна большая: первые три дня можно и не встретиться» — эту хохму придумали такие как мы, репатрианты, и в первые же дни нам стали встречаться люди, так или иначе связанные с нашим прошлым в России. Вот хотя бы история, начавшаяся с Лёниного соседа по парте. Лёня стойчески ходил на утреннюю молитву, а потом сидел в шестом классе, где математика, как он вспоминает, была на уровне второго. Его посадили с мальчиком из московской семьи Даней, уже почти забывшим русский. На исходе первой недели его родители пригласили нас к себе встречать субботу (старожилы старались обогреть вновь прибывших, да и заодно привадить к еврейским традициям). Началось с расспросов, и на мое «Работала в отделе рукописей Ленинской библиотеки» хозяйка ахнула: «Да ведь там работала ближайшая подруга моих родителей Елена Николаевна...» — «Ошанина! — подхватила я. — Я кормила ее с ложечки, когда у нее был инсульт, и сколько раз я слышала от нее ваши имена!»

Или я спрашиваю у женщины, идущей навстречу, который час, а она бурно возмущается: «Как вы поняли, что я русская?» Она из предыдущей волны репатриантов и желает быть настоящей израильтянкой. (У тех лица для меня долго

были непроницаемыми, по ним не видно человека, а соотечественники безошибочно узнавались: походка, осанка, выражение лица.) Конечно, она приглашает нас в гости, и быстро выясняется, что ее муж — воспитанник московского математика Н. Н. Константинова, с которым мы девятнадцать лет жили дверь в дверь в Филях. И звался он Коля-дерев, потому что маленький Лёня любил на него залезать. На нашем этаже жили и его родители, с ними отношения сложились не просто соседские, а родственные, и наши дети заменили им внуков — своих не было. Ирина Константинова, в семье Инна, была им настоящей бабушкой; дети звали ее Бинок — это Ася придумывала: Ина-Бина, а потом просто Бинок. Через год после нашего приезда в Израиль Коля позвонил сообщить о ее смерти. К телефону подошла Ася, вдруг зарыдала, рукой подозвала кого-то из нас и едва выговорила: «Я не могу произнести, что он сказал...» В ее уже взрослой жизни это была первая смерть близкого человека. Через месяц я собиралась лететь в Москву, и было очень обидно, что Бинок меня не дождалась.

А в Лёниной истории совпадения были не простые, а судьбоносные: будто кто руку подавал на поворотах. Тогда везде были открыты склады одежды и домашней утвари, вещи приносили старожилы для новоприбывших. Один склад был в подвальчике рядом с нами, удобное место для знакомств. Недели через две я разговорилась там о школах и о кружках для детей с одной женщиной — ее звали Римма, дочка была ровесницей Лёни, и она во всем уже разобралась. Сначала нужно пройти специальный психотест для определения склонностей и способностей ребенка, чтобы знать, на какую школу претендовать, его проводит благо-

творительная организация. Сказала, куда идти, кому звонить (там отвечают и по-русски).

Мы дотянули до декабря, когда начались дожди. Мама с Лёней лежали простуженные, с подоконников на стены текла вода — жилище наше уже обнаружило непригодность к зиме. Вдруг я вспомнила, что сегодня среда, а психотест по средам, и Костя вытащил больного и безропотного Лёню из кровати и повез в Иерусалим. Костя дожидался в коридоре и разок заглянул в дверь — Лёня ему ободряюще подмигнул.

Результаты теста ушли в Министерство просвещения. А мы, погруженные в невнятицу новой жизни, наверняка не вспомнили бы обо всем этом вовремя и прозевали бы Лёню будущее. Но во второй раз возникает Римма, случайно, в автобусе. «Ну, получили психотест?» — «Нет, а разве пора? Ведь только февраль...» — «Да вы что, ведь уже идет запись в школы на следующий год!» Больше она нам не попадалась.

А Лёня, как выяснилось, написал психотест (оказалось, что он был для 15-летних) лучше некуда, и это дало нам право выбрать любую школу; с седьмого класса он уже учился в лучшей школе Иерусалима. Собеседование Лёня проходил у завуча, Беллы Кестлер, на русском. Мы долго ждали тогда за дверью. Она вывела его, погладила по головке и подтолкнула к нам: «Все хорошо!» Школа была возле университета (так, в переводе, она и называлась: «Возле университета», или просто: «Возле»), и когда мы возвращались, Костя указал на университет: «Вон там он будет учиться». — «Ты думаешь?» — «Вот увидишь».

Так вот, худо-бедно, но дети в первые же дни были построены. Мама хозяйничала дома, и мы, уезжая в «город»

(так мы называли Иерусалим), звонили ей по автомату; ее спокойный голос в ответ — это счастье, что она с нами! К сожалению, мне ее характер не передался. Помню, как в первый раз возвращалась из Иерусалима одна, без Кости: я забыла название остановки, а шофер не знал, где моя улица. Возвращаясь, шофер выбросил меня на самом краю городка. И я пошла... Шла наобум по пустым незнакомым улицам, спросить было некого, шла и тихо выла, не надеясь найти дом... Похожее чувство было в детстве, когда входили в магазин, и мама ставила меня к батарее: «Жди здесь», а я ныла: «Ты меня не забудешь?», не веря ей и воображая, что уже никогда не найду дома.

В город приходилось ездить много, с собой брали круглый серый хлеб, его легко было рвать руками, апельсины и воду, пристраивались на скамейке или на ступеньках; город был чужой донельзя, и больно было нечаянно вспомнить Москву. Мама пожимала плечами: «Какой это город, если нет улицы Горького?» И странно было услышать: «Иерусалим — самый красивый город на свете». Первой сказавшей так была Михаль, солдатка лет двадцати; армия отправила ее преподавать иврит — учителей на всех прибывающих не хватало (она скрывала, что знает русский, чтобы мы не расслаблялись). Я тогда рот открыла от удивления.

Потом мы слышали то же самое от Лоры Борхов, а ей было с чем сравнивать. Мы пришли к ней с посылкой из Москвы и сразу подружились — на почве музыки. Киевлянка, училась в консерватории вместе с другом детства Владимиром Горовицем (сказала: «Я играла с ним в четыре руки»), но о человеческих его качествах мнения была невысоко-

го. Ее отец, Леон Лазаревич Липшиц, одновременно с отцом Горовица кончал Рижский политехнический институт, там они и познакомились (надо же, в те же годы там учился и мой дед). Лора (Элеонора), младшая из детей, росла в благополучном доме, с боннами и гувернантками (отец был успешным инженером, его цементные печи хорошо кормили семью). Когда в 1921-м они переехали в Москву, он даже получил пятикомнатную квартиру в дорогом доме в стиле модерн, на месте которого построен Концертный зал имени Чайковского. В 1925-м отец послал жену в сопровождении Лоры лечиться в Европу. В Париже она вышла замуж за одноклассника, но ненадолго. Со вторым мужем, Борховым, жила в Берлине, пока в 1935-м не пришлось бежать в Палестину. Музыку она оставила давно, жила секретарской работой, последние двадцать лет — на геологическом факультете Иерусалимского университета. Любимым ее композитором был Рихард Штраус, а имени Шаляпина она, к нашему удивлению, никогда не слышала. Костя принес ей пластинки, и она сказала: это лучший голос на свете!

Ей было чуть за девяносто — но ясные голубые глаза, стройная, подвижная, со вкусом одетая. Близких не было, кроме племянника, бежавшего в 1939-м из Варшавы, где в гетто погибли ее старшая сестра с мужем. Она отдала свое жилье и пенсию за комнату-квартирку в доме для престарелых (однажды смущенно призналась, что живет на деньги из Германии, как беженка от Гитлера). Мы заходили к ней по дороге домой почти каждую неделю, на стук она выпевала «Откры-ыто!» и всегда ждала нас с угощением, которое покупала через дорогу («*напротив*» — это старомосковское слово почему-то ее веселило). Меня ждали мои любимые

орехи. Русский она совсем не потеряла, при том что говорила еще на четырех языках, включая иврит. Когда кто-нибудь из разноязычных соседей звонил ей, она, положив трубку, смотрела на нас с вопросом: «На каком языке я сейчас говорила?»

Мы ели, разговаривали и слушали музыку. «Нет, Наташа, вы не любите музыку, как мы с Костей» (меня от усталости клонило в сон), а Костя просто забегал к ней по дороге с работы и отсыпался на диванчике. Однажды она повела его на концерт по своему абонементу, Зубин Мета давал «Реквием» Верди. Костя сидел на узких хорах в два ряда кресел над оркестром, медная группа стояла прямо за его спиной (вторая такая — тоже на хорах, с противоположной стороны) и фанфары Страшного суда в «Dies irae» гремели прямо над его головой. Кто помнит эту музыку, может себе представить...

Иногда Лора водила нас в свой любимый китайский ресторанчик. До сих пор больно вспоминать, что мы огорчили ее в последний, как оказалось, раз: усталые, не приняли приглашения отметить там Костин день рождения.

Грустно вспоминать ее одинокую смерть. Мы вернулись из Италии, пошли благодарить. (Она подкинула нам денег на поездку. «Только в долг», — сказали мы. «Ко-о-не-е-ечно», — протянула она.) Мы пришли с сувенирами, с баночкой черной икры (кто-то привез из Москвы), — комната открыта настежь, а ее нет. Нас послали вниз; ничего не подозревая, мы положили на стол все, что принесли, и пошли. Внизу оказалась длинная больничная палата с одним рядом коек, разделенных простынями; ее койка была последней, у окна. В изножье сидела на стуле и что-то читала молодая

безразличная русская сиделка, нанятая, видно, племянником. Мы встали близко к ее лицу, гладили ей руки и рассказывали про путешествие, бормотали еще что-то, а она пристально на нас смотрела. Так и смотрела, пока, обещая вернуться завтра, мы шли к двери и оборачивались. Все это время с соседней койки за простыней исходил ритмичный резкий крик душевнобольной женщины. Под этот нескончаемый крик Лоре и пришлось собираться в дорогу (она даже сказала: «Хоть бы кто-нибудь ее убил»). Наутро племянник известил нас о ее смерти. Похороны будут не скоро: она завещала передать тело для гериатрических исследований. Ей было около девяноста шести, даты ее рождения и смерти у меня в памятном списке, но вспоминаем мы ее гораздо чаще.

Лора Борхов любила Иерусалим. А я, признаться, «хочу соврать, и не совру», до сих пор восторгов перед Иерусалимом не понимаю.

Хотя, конечно, город святой и помощь подает. На третий день после приезда, оформив бумаги на покупку электроприборов, мы шли по пешеходной улице, ища магазины с холодильниками и прочим оборудованием, нам причитающимся. Но у нас нет языка... Она стояла посреди улицы и смотрела на нас, растерянных. Остановила, выяснила, в чем дело, и повела за собой. Стелла приехала лет за восемь до нас и могла объясняться. С того дня она всегда была с нами, и много чем мы ей обязаны. А мне памятнее всего один ее поступок, когда мы и несколько близких друзей вернулись домой после похорон мамы. Я не держалась на ногах, и она сказала: «Иди поспи, я все приготовлю сама». Это

именно она сопровождала Костю с Лёней к врачу; он взял Лёню под свою опеку и довел его до армии; все это время проблем со здоровьем сына мы не знали.

За этим мы сюда и ехали! В пятнадцать лет Лёня решил заняться тхэквондо. Я, по привычке бояться за него, крикнула: «Не пуцу! Я мать!» — и в ответ услышала: «А другая жизнь мне не нужна». Я замолчала, а в сыне скоро ничего не осталось от того тщедушного создания, каким мы его привезли.

Наше дело было учить иврит, ходить в ульпан (буквально — студия, в данном случае — курсы). Шесть месяцев, пять дней в неделю по пять часов в день — это было добротное, самое спокойное время, когда язык охотно укладывался в голову: Михаль оказалась хорошим педагогом. Но многое зависело и от возраста. С нами в группе был ленинградский писатель — он и так изнывал от тоски, да еще иврит ему категорически не давался, и они с женой уехали обратно. Но мы успели пообщаться. Новый 1992 год мы встретили у них, в привычных московско-питерских разговорах, это было прекрасно. От нашего жилища до них было пять минут, но мы едва дошли и промокли до нитки — ливень, а ураганный ветер отменял даже мысль о зонте.

До ульпана ходьбы было пятнадцать минут, и мы старались не пропускать, но однажды сразу за углом дома нас обоих сбило с ног, пришлось ползти назад. А в доме было не теплее, чем на улице, и вода ручьем затекала под обе холодные железные двери, входную и с балкона, на полу стояли лужи. Ложиться в сырые кровати было невозможно, и Костя придумал выход: укреплял над кроватью длинную жердь, на

нее одеяло, получался шалаш, и туда направлялся наш единственный маленький электрический обогреватель — принесла человеколюбивая знакомая. И мы в очередь укладывались. Холодно было до марта.

Зато первые полтора месяца после приезда, до зимы, стояла теплынь. В ульпане становилось захватывающе интересно, когда урок давал молодой московский физик Гедалия Урали, который расширял рамки занятий — он заботился о нашем кругозоре. Один урок он посвятил еврейскому календарю. Этот календарь оказался не солнечным и не лунным, как у других народов, а лунно-солнечным и поэтому более точным. Гедалия исписывал доску сопоставлением ивритских корней (а в иврите корень слова имеет такое же значение, как в русском) с коренными же понятиями иудаизма, с очевидностью демонстрируя, что Слово и Бог неразделимы. Мы с Костей каждый раз в восторге бежали проводить его до автобуса, захлебываясь от вопросов.

Я тогда металась в попытке прислониться к чему-нибудь вечному. Православие в приделе Греческой ортодоксальной церкви в храме Гроба Господня ничем не напоминало теплого и уютного убранства русских церквей, а мы с мужем любили их и много видели в своих путешествиях. В шесть лет папа завел меня в Елоховский собор, мы жили близко, и сказал: «Посмотри. Вот это — церковь». Я всегда заходила в церкви с почтением, но и всегда опасалась оглядывающихся на меня, чувствуя: я чужая, им это не нравится. На этой же земле в моем отношении к христианству случилось странное: все приблизилось, стало осязаемым, но и зыбко-альтернативным: две Голгофы, две могилы, два

Эммауса, а может и больше. Духовность снизилась до сказочности...

Иудаизм, как новое и неведомое, был заманчиво интересен, но я приехала столь невежественной, что этот мир оказался для меня недоступным. Только когда в него вводили специалисты, такие как Гедалия или Л. (наша новая знакомая, живет напротив, через улочку), бывшая эрмитажница, а здесь блестящий экскурсовод и знаток обеих религий, — тогда вскипал восторг. Я люблю вспоминать, как однажды у нас в гостях она разговорилась и, купаясь в подробностях, стала рассказывать о семье Моше (Моисея), о его сестре Мирьям, матери Йохевет, и отце — забыв на секунду имя, она назвала его «папашей». У меня аж слезы брызнули — и от перегрузки новыми знаниями, и от неожиданной интимности в отношениях с библейскими персонажами. Это так подходило к тому, что мне всегда нравилось в Пятикнижии и отличало его от эпосов, где на первом плане героическое, — длинная семейная история народа, в которой не скрываются грехи, обманы, жульничество, злодейство — в семье чего не бывает! Л. сказала, что с таким ощущением я стою почти на грани понимания Торы и, как ей кажется, только лень мешает мне открыть сундук с сокровищами, на котором «вы сидите, извините, задницей». Но она меня переоценивала: религиозного чувства прошлая жизнь во мне не заложила, и это оказалось необоримо. Как-то мне очень надо было выучить 146-й псалом Давида (Л. нашла его для меня), и я выучила (по-русски) и повторяла его, надеясь на вышнюю помощь. Но каждый раз изнывала от произнесения обязательных славословий — в этом советском жанре прошла половина оставленной жизни. Я не могла принять

мироощущения четырехтысячелетней давности, привитый мне историзм противился этому, и мне так и не хватило религиозного доверия («но протестует разум» — Самойлов). Как Л. ни хотела помочь мне, но и она отступила: «С таким чувством не стоит молиться». И отпущенный на свободу псалом сразу же начал стираться из памяти.

— Ну, здесь-то ты поверила? — спросила меня подруга, когда приехала в Израиль погостить.

— В кого?

— В *Него*, конечно, Он же здесь ходил!

— Но *Их* здесь не один!..

Много лет назад ее вопрос прозвучал иначе: «А ты не боишься своего неверия? Ведь сказано: каждому по вере его». — «Я не боюсь, — ответила я, — я завидую».

По-настоящему я молилась единственный раз, когда сына увезли на операцию с неизвестным диагнозом и неясным исходом. Когда через три часа врачи вышли, мы с мужем встали, и на наш безмолвный вопрос ответ был: «После таких операций дети обычно выживают». И все эти три часа я молилась. Я помню слова, которые повторяла: «Не забирайте, оставьте его мне...» Судя по ним, я обращалась к высшим, но не персонифицированным силам.

Помню еще один случай: я внезапно обнаружила, что молюсь. Вот эта молитва как раз была персонифицирована. Середина 90-х, я в Смоленске, в деловой поездке из Израиля, ищу в архиве материалы об уничтожении местных евреев. Всё было трудно тогда: выявить документы, найти

возможность их скопировать, договориться о цене, угодить сувенирами... Архив располагался на холме рядом с собором Смоленской Божьей Матери; в тот день был престольный праздник, и много праздничного народу поднималось по длинной лестнице к входу в собор. Я снизу посмотрела на прекрасное здание с распахнутой дверью и побежала вверх, но только не в церковь, а в архив, и вдруг слышу, что обращаюсь к Нему: «Помоги мне, помоги, помоги с архивом, ведь мы с тобой родственники... Их всех убили, а мы родственники...» Твердила так, пока бежала, и было мне весело оттого, что легко бежалось, и тепло от моего внезапного панибратства с Ним. Я иногда думаю о нем с сочувствием: больно, наверное, видеть, что твое учение извращено и во Имя Твое тысячи лет льется кровь твоих сородичей.

Между тем, жизнь двигалась в духе «нистрашного». Но «страшное» — творилось со мной.

— Мама, что мы наделали?!

— Приехали — надо жить!

Я тогда уже ходила к психологу — это была бесплатная помощь репатриантам, и на мне тренировалась тоже недавно приехавшая Люба Бергельсон, внучка расстрелянного в 1952-м писателя Давида Бергельсона. Так вот, она обнадеживала меня:

— Я знаю, что с вами происходит: будто свечой кто-то обводит вокруг сердца. А утром вы встаете? И кровать убираете? Ну вот видите, а некоторые весь день лежат лицом к стене! О, у вас носовой платок глаженный? Ах, это не вы, это мама любит гладить? Так с такой-то мамой!..

Но все было мне не по душе, вроде несчастных пальм, которые, вместо того чтоб шелестеть, громыхали жестяными листьями. «Смотри, какой закат», — звал муж к окну. «Не хочу смотреть на их закат!» А в полусне мечтала поднять границу, как веревку, и пролезть обратно. Или постоять у притолоки, и даже не войти, а только послушать, как болтают мои подружки (раньше на таких посиделках мы много смеялись, вряд ли сейчас...). Помню, какие письма я писала самым близким: даже закаленная моими бедами Мариэтта пугалась, а Ира Березовская позвонила: «Возвращайтесь! Будете жить у нас на даче!» Впрочем, письма, уже *оттуда*, были разные: кто о новых невиданных свободах, кто о столь же невиданных трудностях.

Вечерами Ася плакала. Первое время мы втихую присматривали друг за другом — не случилось бы чего. Светает, я просыпаюсь: она вечером плакала и не отвечала, и сейчас снова... Выхожу на балкон, перелезаю за перила, ползу по карнизу вдоль стены и распластываюсь по оконной решетке в позе ангела, держась за решетку. Ася стоит у самого окна и пугается: «Мам, ты что, каждый раз, когда я плачу, будешь к окну прилипать?!»

Еще в Москве зудящая мысль — чем на жизнь зарабатывать станем? — втянула нас в затею, которая называлась «Прогрессивный иудаизм» и предназначалась для советских евреев, далеких от иудаизма и его течений. Цель была — подготовить лекторов для пропаганды в Израиле «прогрессивного» течения, предполагалось, что такими лекциями можно зарабатывать. Я потратила несколько драгоценных

последних дней на конференцию в Киеве, где по просьбе организаторов записывала выступления для последующей публикации. В Израиле курсы лекторов нас уже ждали.

Мелким почерком, торопясь, я исписываю тетрадь за тетрадью историями древних царств, коварства и крови, проливаемой братьями в борьбе за власть (куда Шекспиру!) — я пишу и пишу, я ничего этого не знала, а теперь уже и не запомню, я привыкла купаться в родной русской истории, в своем XIX веке, где всех знаю по имени-отчеству, всех узнаю по почерку, люблю тех, кем специально занималась, видела и разговаривала с ними во сне, писала о них, — и что я с собой сделала?! Шелестит голос большого знатока, а я тихонько скулю на задней парте и прячусь за спинами. Не помогают и высокие деревья в окне, за которые цепляюсь взглядом — вроде бы сосны (мы в старом зеленом центре Иерусалима), да все равно, чем-то они другие, длинноволосые... Становилось ясно, что никому, кроме организаторов, эта затея не нужна — ни слушателям (кто-то прочел две-три лекции, но это были копейки), ни стране, в которой не только «прогрессивный», но и почтенный «консервативный» иудаизм не вызывают энтузиазма. Одна была радость: денег у организаторов хватило на несколько экскурсий по древностям: Яффо, Тверия.

Все это длилось уже месяца полтора, шел декабрь. Мы возвращаемся с двухдневной конференции в маленьком только что построенном городке — эти слепящие дома из белого камня, без единого деревца, эти разговоры с такими же, как мы, разочарованными и потерянными бывшими соотечественниками, пончики с повидлом, обсыпанные сахарной пудрой, — значит, была Ханука... Уже вечер, мы

снова одни, сошли с автобуса и спускаемся по каменной лестнице на корявую тропинку (как мама еще не сломала себе что-нибудь?), она ведет к верхушке дома, в которой мы живем. Я смотрю туда, и все мешается в голове: нелепое жилье в нелепой пустыне, нелепо потерянное время, чужая природа, чужая история, чужой пустой воздух, даже цветы не пахнут, что делать дальше, оторвала маму от сына, детей от культуры... Мне нехорошо, я хочу ускользнуть, и я бормочу — не хочу туда идти, это не мой дом, не хочу там жить, это не жилье вообще, не хочу ничего этого, ничего не хочу... Настоящая истерика, подумала я — и стала валиться, вываливаться у Кости из рук на землю и кричать: это не дом, это не жизнь, я не хочу дышать этим воздухом... Он меня кое-как довалил, дотащил до дома, вкинул в дверь, и я в таком состоянии предстала перед мамиными глазами и — перед Асей.

Ася поняла, что дело плохо, ведь я должна была стать кормильцем, у меня были важные письма, я уже куда-то звонила, с кем-то собиралась встречаться... Она стала спасать: схватила, вытащила на балкон (холодно уже было), повторяла, что мы приехали, на меня надежда, я должна жить, я должна взять себя в руки, я должна что-то делать, чтобы семью вести, и она не отпустит меня, пока не доведет до состояния, когда я улыбнусь. Сколько времени Ася спасала мать и всю семью — много, думаю, часа два. (Костя говорит: четыре. Он стоял за дверью, слушал и смотрел на часы.) Когда Ася ввела меня в дом, я криво улыбалась. Тогда и пошла к психологу.

3. Свой Израиль

Костя сделал попытку найти работу по специальности. Он сам или кто-то из доброхотов увидел объявление в русской газете, что требуется теплотехник в частное предприятие. Мы едем на задворки иерусалимской промышленной зоны, Костя уходит на разговор с хозяином, а я брожу туда-сюда вдоль ржавого жестяного забора, залепленного плакатами: «Территории в обмен на мир!». Я понимаю и фразу на иврите, и ее политический смысл, и у меня, оказывается, уже есть своя позиция: я против «левых», мне жалко территорий, политых кровью евреев, и я не верю в такой мир. Это что, моя кровь взыграла? Потому что русский Костя, напротив, уверен, что для того и территории, чтоб было чем заплатить за мир. Пожалуй, эта размолвка впервые дала мне ощутить родственное чувство к еще малопонятной маленькой стране. И мы долго потом стараемся не ссориться по поводу политических расхождений, пока «соглашения Осло» не перестают означать дорогу к миру, а начинают убедительно демонстрировать исторический тупик.

Костя вернулся ни с чем. На вопрос хозяина, сможет ли он за два месяца придумать ему новый теплообменник, Костя просто засмеялся. Казалось бы, неудача, на самом же деле судьба знала, что делала. В то время Костя еще не владел компьютером, и последующие восемь лет даром не пропали: он пришел к тому же боссу с собственными инженерными программами и работает на этой фирме уже пятнадцать лет.

А я получила свой первый шанс от Мариэтты. Она дала мне письма к бывшим российским, а теперь израильским

филологам, профессорам кафедры славистики Еврейского университета в Иерусалиме; она рекомендовала меня как историка и архивиста и истово просила помочь с работой (отплачу, мол!). Письма действовали: Роман Давыдович Ти-менчик принял нас с мужем в кампусе гуманитарных факультетов университета и передал в руки заведующего кафедрой — тот провел по кампусу, напоил нас чаем и обещал подумать. Другой профессор, Дмитрий Михайлович Сегал, прочтя Мариэттино письмо, предложил мне написать обоснование к теме, которой он начинал заниматься: «Русская периодика (Петербург, Москва) периода Первой мировой войны и революции как источник для истории русской культуры и литературы». Обоснование я написала и даже отпечата-ла (на такой случай мы привезли пишущую машинку; забавно, что очень помогли и неведомо для чего прихвачен-ные несколько номеров «Вопросов философии» — до сих пор из благодарности их не выбрасываем). Сегалу и здеш-нему патриарху русистики Илье Захаровичу Серману текст понравился, и мы с Сегалом даже ходили оформлять бума-ги: он брал меня к себе референтом.

Но все перевесила другая возможность — шанс попасть в Яд Вашем, где я и проработала потом полтора десятка лет. Яд Вашем в переводе с иврита — «Память и Имя», израиль-ский национальный мемориал Катастрофы и героизма (Ка-тастрофа — вольный перевод ивритского *Шоа* — всесожже-ние, а международно принятый термин — Холокост). Когда этот шанс приобрел реальные очертания, Роман Тименчик твердо сказал: «Идите, Наташа, в Яд Вашем, он будет стоять, покуда жив Израиль». — «А университет, а тема, а Сегал?» Он только покачал головой. Сегала же мои сожаления рас-

смешили: «Ну, хотите, так и работайте над темой, только бесплатно...» Мы были на вы, но по-здешнему, только по имени, без отчества. Мама, например, огорчилась, когда она из Екатерины Моисеевны превратилась в просто Катю — разве я Катя?! Потом, в своем кругу старушек, привыкла.

Доктор Шмуэль Краковский, заведующий архивом Яд Вашем, через несколько лет уже не смог ответить на вопрос, от кого он обо мне узнал, — не помнил. Я же уверена, что это был директор Сионистского архива. Разговор с ним, приведший в итоге в Яд Вашем, произошел благодаря заботе той же Мариэтты. Летом перед нашим отъездом в Израиль она побывала в Германии, и тамошняя ее коллега обещала договориться со своей подругой, работавшей в Сионистском архиве, чтобы та сопровождала меня к своему директору.

Небесам показалось этого обещания мало, и мне был уготован еще один проводник в том же направлении. Идем мы с Костей мимо рынка, и я попадаю в раскрытые объятия Леонида Юниверга, работавшего в отделе редких книг ГБЛ. Он тоже недавно приехал, мы расспрашиваем друг друга о планах. Услышав о Сионистском архиве, он дает мне телефон Инны Рубиной, вдовы известного отказника Ильи Рубина, она там готовит многотомное издание переписки Герцля на немецком. Она очень милый человек и непременно поможет. Так и вышло: Инна встретила нас с Костей, сильно замерзших, завела в свою комнату, дала горячего чаю и проводила к той самой сотруднице, которая ждала меня с лета (интересно, как я собиралась найти ее сама?), а потом обе повели меня к директору. При такой свите он принял меня очень доброжелательно. (Я тогда

еще прилично говорила на английском — увы, иврит, прирастая, его вытеснил.) Директор сказал, что на год взять меня сможет, но не более. Мне же советует искать такое место, где возьмут на три года, а там — от меня будет зависеть (тогда для репатрианта с академической степенью государство компенсировало нанимателю значительную часть его зарплаты — на три года). Директор пообещал, что сообщит обо мне коллегам. Конечно, это он передал в Яд Вашем, что есть историк, архивист и публикатор, приехавший из Москвы.

Звонка я не ждала, поэтому растерялась и не смогла понять того, что мне говорит на иврите женский голос. К счастью, голос быстро уступил место мужскому, и я с облегчением услышала русскую речь: доктор Краковский просил меня договориться с его секретаршей Нехамой о встрече в Яд Вашем. Холодея от важности момента, я заставляю себя понять беспощадную скороговорку Нехамы. Когда через много лет меня провожали на пенсию, я поблагодарила каждого, кто вводил меня в Яд Вашем, и сначала Нехаму — это ее голос я услышала первым. А тогда на разговор с ней я шла к телефону с ужасом. Я брала трубку, и Костя держал меня за спину, не давая увильнуть. Точно так он не давал мне отпрянуть, когда крошечная Ася тигриным броском впивалась в мой изъеденный сосок, чтобы добыть молоко из измученной маститом груди (в Израиле нет мастита, надо же!). Та же Нехама, когда я вбежала в приемную Краковского с воплем «Маме хуже! Я боюсь не успеть!», вскочила со стула, чтобы довезти меня на своей машине к автобусу, иначе бы я долго бежала до него в гору.

Позже Нехама была главной в поездке сотрудников Яд Вашем в Польшу по местам уничтожения евреев: гетто, кладбища, концлагеря. Когда вышли из последнего лагеря, она встала в центре нашего круга, протянула раскрытые ладони, а все мы положили на них свои. Она стала раскачивать вверх-вниз это соединение рук, и мы за ней кричали: *«Ам Исраэль хай! Ам Исраэль хай!» («Народ Израиля жив!»)*

Осваиваясь в Яд Вашем, я бродила по территории мемориала, заглядывала всюду и подошла к Залу Памяти. Низкие бетонные стены на черных валунах, тяжелая плита крыши чуть приподнята над ними, и эта щель служит источником света. По верху стены идет как бы простреленная пулями надпись из пророка Исаяи: *«Дам я вам в доме моем память и имя, которые не изгладятся»* (отсюда взято название мемориала). Я была в этом зале и раньше, но сейчас там что-то происходило.

Я вошла в полумрак. Полно народу, заняты все стулья, расставленные на галерее на уровне входа. Смотрю вниз на Вечный огонь над сосудом, в котором пепел из лагерей смерти, на плиты в полу с названиями этих лагерей, на того, кто произносит речь с кафедры рядом с огнем, — все знаменитые гости страны поднимаются на эту кафедру... Речь закончилась, и вдруг будто поднялась стая больших птиц — это разом встали все. Единый вдох — и они запели медленный, грустный и даже жалостный поначалу гимн страны. К концу мелодия крепнет и поднимается, отвечая его названию: «Надежда». Как они разом встали и слитно запели! Для меня это было потрясением: есть гимн страны, которым можно гордиться, и все это — мое. Я до сих пор не знаю

слов, но каждый раз он меня трогает и дает-таки надежду (хотя все же неуловимо он похож на «Старинную французскую песенку» Чайковского, которую я играла в детстве).

Краковский оказался польским евреем, маленького роста, как мы с братом. Из Освенцима его спасли русские. Читая мою анкету, он вдруг повернул ее ко мне, держа пальцем строку «возраст», — это не ошибка? Мне, поседевшей при перемене жизни, такой вопрос польстил (после, когда я очухалась и вернула цвет волос, он одобрил: «Правильно»). В середине февраля Краковский позвонил: «Кажется, я смогу вас взять».

Как оказалось, я приехала в самый удачный для себя момент. В Москве открывались архивы, точнее документы снимались со спецхранения, старое начальство сменялось на людей с перестроечным сознанием, и Яд Вашем нуждался в человеке, знакомом с тамошней ситуацией, чтобы договариваться о выявлении, копировании и публикации ранее недоступных материалов, связанных с уничтожением евреев во время Второй мировой войны.

Но прежде надо было доучиться в ульпане, он кончался в мае. До конца марта я прошла еще два интервью в Яд Вашем. Два — это потому, что меня брали как доктора наук; степени, подобной российскому «кандидату», здесь не было. Первое — с кадровицей, ее звали Лея Тейхтель, и она, помогая мне, разбавляла иврит английским. Благосклонно пощупала мои публикации на непонятном русском и сказала: «Не беспокойся, кто в Яд Вашем войдет, тот в нем останется». (Пока что меня брали только на два года.)

Генерального директора звали Ицхак Арад, он воевал в Белоруссии, и партизанское имя его было Толька; он мог бы поговорить со мной и по-русски, но заранее предупредил, что на интервью будут присутствовать его заместители и надо говорить на иврите. Эстер Оран, заместительница Краковского, когда интервью закончилось, шепнула мне, что мой иврит звучал грамотно. И Лее, и Эстер я напоявила их добрые слова в той своей благодарственной речи.

Меж тем зима закончилась, переговоры о работе тоже: меня брали в Яд Вашем, и как-то вечером меня вдруг отпустило. Мы с Костей пошли пройтись и на лужайке над дорожкой сели на скамейку: простая широкая доска и узкая — под спину, она смотрела далеко в Иудейскую пустыню, в сторону Мертвого моря. По верху далеких иорданских гор уже зажглась длинная, на весь горизонт нитка огней. Вокруг никого, тишина, и я растянулась на доске, головой у Косте на коленях — и спала, спала, впервые без тяжести в груди.

Мы часто проходим мимо, иногда садимся на эту скамейку, и я ложусь, но больше уже не возникает ощущения волшебного предмета, как у Стругацких в «Понедельнике», специально поставленного на дороге для моего тихого катарсиса.

— Мам, дать тебе салатик? — Ася сует мне под нос что-то неопишваемое: мелко нарезанные груша, яблоко, апельсины, залитые ананасовым соком. Я деликатно съедаю две чайные ложки. Лёнька прибегает распаренный, красный — носился где-то с Данькой, играл в футбол, садится передо мной, впивается в яблоко... Наестся фруктов —

это была тайная предотъездная мечта. Яблоко делили так: кожура нам с Костей, сердцевину любит мама, остальное — детям.

Черные тучи больше не шли от Иерусалима. Жилище согрелось и уже не казалось несносным. Перепадали и сильные впечатления — похоже, я начала видеть и слышать. Вот иду за вереницей крошечных детишек, не в силах наглядеться и обогнать их. Один волочит по земле тряпку — сейчас наступит на нее и упадет. Я не выдерживаю и показываю воспитательнице: забери ты ее у него! Она в ответ, мягко: «Но он ее любит». Разве такое бывает?!

А я вспоминаю детсадовскую Асю по утрам: сухие рвотные спазмы над ванной. «Ну что ты?» — «Галина Николаевна очень кричит, боюсь!» — «Но ведь не на тебя же?» — «Все равно страшно! Mamочка, извини, больше не буду!» Пришлось раньше времени отдать ее в школу, и она проходила мимо своего детского сада, отворотив голову.

«Куда ты поше-о-ол? Куда-а-а?» — нежно растягивает слова молоденькая мамаша, двигаясь за ковыляющим — он думает, что убегает — малышом. У меня с тех пор в ушах эта повышающаяся на концах музыкальная фраза: «Леан ата холе-е-ех? Леа-а-ан?» Я-то не без труда сменила свое «шалом», сумрачно упдающее к концу, на приветливо растянутое «шало-ом!» На этом фоне иногда встречается старый репертуар «русских» бабушек: «Сиди смирно, куда лезешь? Там тебя машина задавит!» — пожалуйста, утоляй себе свою ностальгию.

Много лет спустя мы стоим на пустынной платформе «42-й км» по Казанке (в моем детстве она была дощатая), ждем электричку на Москву, а мимо шагает женщина и по-

нуро плетется за ней мальчик лет четырех. Не оборачиваясь, она громко поливает его грязной ненавидящей бранью. Мы обмерли — в Израиле забыли, что такое бывает. Костя не выдерживает, делает рывок, наклоняется к мальчику и говорит: «Ты хороший, ты очень хороший! Это мама у тебя плохая». А что можно было сделать? Мальчик хотя бы получил передышку: она переключилась на нас. Это было страшно!

Вспомнила! Когда Джигарханян в спектакле «Трамвай “Желание”» пошел, зверя, прямо на зал — а мы сидели в первом ряду, — мне показалось: сейчас убьет! Он смотрел прямо мне в глаза. Я даже руки вперед выставила.

Да... А пока что мы дожили до весны нашего первого года, начали приживаться, и как-то легко далось нам решение сделать Лёнке обрезание. Во-первых, раз приехали, надо присоединяться к народу, а еще — будет меньше причин для травли в школе (неполиткорректные дети обзывали приезжих «русскими», и доходило до расправ в туалетах). Рав Кац, в дом которого мы пришли за подтверждением Лёниного еврейства, посмотрел мои документы, притянул Лёню к коленям, взгляделся в него и написал разрешение. Можно было уходить, но я вдруг сказала, что это муж нас привез, хотя сам он русский, и показала на Костю, он тихо сидел в сторонке. Тут рав Кац поднялся, обошел стол и пожал Косте руку.

Мы даже победили в безнадежном, казалось, противостоянии с отделом образования местного муниципалитета, который упорно не желал дать Лёне отпускную из здешней школы. Мы, два немолодых, бледно одетых и плохо говоря-

щих на иврите человека, в который раз стояли перед столом цветущей, увешанной золотом чиновницы и читали на ее лице: «Да кто вы такие, чтобы ваш ребенок учился в Иерусалиме, да еще в школе для одаренных?» Кончилось забавно: она потребовала справку, удостоверяющую одаренность ребенка, — из Министерства образования! Мы в растерянности позвонили Белле Кестлер, справку она прислала, и этого, к нашему удивлению, хватило.

Маме исполнился 81 год, и она меня восхищала: хорошо умела справляться с приступами тоски, полюбила свой клуб — их учили ивриту и возили на экскурсии.

И при всем этом я продолжала ходить к психологу и крепко держать при себе оставленную жизнь. Когда-то выдворенный из Союза Наум Коржавин глушил ностальгию просто — покупал советскую газету. Со мной было наоборот: в России разгорались надежды, и я душой оставалась там, дома, а к новой стране приглядывалась с опаской: вдруг не возникнет приязни.

Все это я вычитываю в своем письме в Москву в конце марта: *«Странная эта страна. Много в ней нелепого, неразумного и безнадежного. Я все жду от себя искры симпатии к ней, но нет, все чувства остались дома. Читаем здешние русские газеты, слушаем здешнее русское радио и трясемся, что его закроют. Иногда ловится Москва на заграницу. Кажется, что все обойдется дома, только как выживут те, у кого мало денег».*

Может, это было внутреннее сопротивление принятию новой родины? Боязнь предать себя самоё? Мариэтта твердила мне напоследок: «Больше всего я боюсь, что у нас с то-

бой будут разные родины». Как уверенно я убеждала ее, что этого не случится!

31 мая 1992 года я вышла на работу, а на следующий день Краковский улетал в Москву налаживать связи с российскими архивами. Для меня это был шанс, и он уехал с письмом к моим друзьям С. В. Житомирской и ее зятю С. В. Мироненко, который в середине мая стал директором Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). Краковский вернулся недели через три, напичканный рассказами Сарры Владимировны о моих талантах архивиста и публикатора, а главное — Мироненко сказал ему, что лучше меня никто не сможет вести задуманные проекты сотрудничества.

Войдя ко мне в комнату, Краковский сел напротив. «Зейфман — это фамилия вашего мужа?» — «Нет, отца». — «Откуда он родом?» — «Родился в Польше». — «Где?» — «В Кельцах». Он взял телефон и повторил кому-то мои ответы, произнеся «Кельце» по-польски. Оказалось, что накануне, на встрече земляков, он рассказал, что у него новая сотрудница, назвал мою фамилию — и вскинулись братья Лайхтеры, Синай и Хаим: «Это фамилия нашей матери!» «Сейчас они приедут на вас посмотреть», — сказал Краковский.

Они вошли, одинаково низенькие и голубоглазые, как мой брат, и молча уставились на меня. Один сказал: «Смотри, у нее глаза, как у Оры!» Потом оказалось, что мы с Орой троюродные сестры и наше сходство так поразительно, что на общих фотографиях я принимала ее за себя. Вообще-то в Кельцах жило много Зейфманов (большинство семей по-

гибло), и как раз сходство с Орой было доказательством близкого родства.

Новые лица, новые имена, так трудно запомнить их... Эстер Оран ведет меня в хранилище, по-здешнему компактус. И правда, он компактен, устроен современно: плотно сомкнутые стеллажи легким поворотом штурвала разъезжаются, открывая доступ к картонным коробкам, точно таким, как в моем отделе рукописей. Только тут документы лежат в обложках из специальной бумаги, препятствующей старению. Зато нет привычного запаха кожи и пергамента — запаха старинных рукописных книг, нет пожелтевшей бумаги с почерком великого писателя или альбомчика с рисунками провинциальной барышни: беря рукопись, держишь в руках чью-то жизнь, которая продлена вперед и назад и сквозь нее просвечивает история. Здесь, в Яд Вашем, аура совсем другая, здесь документы говорят о бедствиях и о смерти. Рукописей почти нет, одни копии, из разных стран: антисемитизм, преследование и уничтожение евреев в середине XX века. Старательно слушаю, что рассказывает мне Эстер, и делаю вид, что понимаю...

Я вставала теперь в полшестого, ехала на двух автобусах, шла по дорожке вдоль соснового лесочка вниз до мрачных чугунных ворот. За ними был Яд Вашем — символическая усыпальница шести миллионов евреев (первая задача мемориала — собирание имен: в имени вечная жизнь души). В 1953-м вместе с законом о статусе и задачах Яд Вашем государство выделило ему в Иерусалиме длинный покрытый лесом холм; постепенно он застроился и оброс памятниками, оставаясь притом лесным. От ворот начиналась аллея Праведников на-

родов мира — такое звание Яд Вашем дает спасителям евреев, рисковавшим жизнью. Под каждым деревом (в основном это рожковое, оно же хлебное, дерево, его стручки можно есть) — табличка с именем и страной спасителя, весь холм в таких деревьях. Аллея ведет к зданию на зеленой лужайке, которую в это утреннее время поливалиют маленькие фонтанчики.

В комнату на первом этаже входил запах влажной травы. Я стояла у открытого окна и наслаждалась, пока к половине восьмого в коридоре не начинали звучать шаги и приветствия. Стол, за который меня посадили, стоял торцом между двух окон, а над ним висел в раме большой портрет Мордехая Тененбаума, руководителя восстания в Белостокском гетто (застрелился, когда сопротивление стало безнадежным). Лицо, не утратившее юношеской нежности, а комната пока еще принадлежала его возлюбленной, давно уже не молодой, но статной, зеленоглазой Броньке Клебанской — не на еврейку похожа, а на полячку, благодаря чему избежала гетто и исполняла функции связной с польским подпольем, партизанами, Варшавским гетто. В этом гетто была ее мать, и, проезжая мимо на трамвае, Бронька садилась спиной, чтобы его не видеть. В Яд Вашем она работала с момента основания, а теперь заходила только изредка, сидела задумчиво, — я тогда перебиралась за столик у двери. Наконец однажды, посидев так, она сняла со стены портрет и ушла с ним, едва кивнув мне. Кто я была для нее, чтобы прощаться? — только знак, что ее время здесь закончилось.

Работа, зарплата, воздух Яд Вашем, ощущение причастности к благородному делу — вот что уравнило мою душу. Мне так полегчало, что вскоре, сбегая по дорожке

к черным воротам, я подпрыгивала как девчонка и кричала в небеса: «Господи! Спасибо!»

Я иногда водила экскурсии по территории комплекса и по музею; всего не покажешь, но обязателен был Зал Детей.

Как представить себе полтора миллиона погибших детей? А вот как: один за одним, каждый в одиночестве, человек входит в темноту, руководимый только поручнем. Глаза привыкают, и становятся видны несколько свечей и поверх них бесчисленные огоньки, они заполняют всю черноту пространства, как звезды, каждый — детская душа. А сверху звучит размеренный голос, читающий имена погибших детей: имя, возраст, страна. Имя, возраст ребенка, страна. Голос иногда прерывается странной неживой музыкальной фразой — тусклой и тягучей, потом опять: имя, три месяца, три года, одиннадцать лет... Я-то знаю, что свечей всего пять, а остальное делает система зеркал, но и мне там становится не по себе.

Когда, пройдя круг, отпускаешь поручень, то вдруг выходишь на свет и видишь вдали на холмах белые дома Иерусалима, за ними на горизонте могилу пророка Самуила, а поодаль — высокую ажурную башню Армии обороны Израиля. Видеть этот размах жизни как контраст оставшейся за спиной смерти меня научил мой коллега Анатолий Кардаш; еще в Союзе, когда нельзя было, он, инженер по профессии, занялся темой Катастрофы, в Яд Вашем работал в Зале Имен со свидетельскими показаниями о погибших. Материал плыл к нему в руки, он стал писать книги. Экскурсии по Яд Вашем он водил в необычно свободной манере, без назойливой драматизации. Много было мне внове и далеко от трафарета: евреи и партизаны, например. Оказалось, что совсем не просто было еврею в партизанах: бы-

вало, свои отнимали оружие и расстреливали, поэтому существовали отдельные еврейские партизанские отряды.

Я увязывалась за Толей — училась. Как-то он водил А. Н. Яковлева с женой; мы вышли из музея и продолжали говорить, а она отвернулась, уткнулась в платок и беззвучно плакала. А однажды я увидела из окна своей комнаты Жванецкого. Накануне у него был творческий вечер в Иерусалиме. Они со спутником неуверенно двигались по лужайке. Я выскочила в коридор и нашла их, озирающихся, в вестибюле.

— Вы одни здесь? Хотите посмотреть Яд Вашем? Ни с кем не договаривались? Сейчас я позвоню коллеге, он был на вашем выступлении и с удовольствием вам все покажет.

Мы шли по мостику, как будто парковому, шли мимо холмика в сосновых иголках (под ним был Зал Детей), мимо ненавязчиво поставленной у дорожки высокой стелы, — если не задрать голову, то не различишь, что она напоминает трубу крематория. Я их ото всего этого оберегла — пусть уж Толя сам. Мы шли и смеялись, а когда дошли до Кардаша, М. М., в своей манере не заканчивать фразы, поблагодарил меня: «Вот жизнь, она всегда так, преподносит неожиданные...» Поблагодарил, и я в ответ присела в книксене, благо была в широкой длинной юбке. Потом все трое посерьезнели и вошли в музей, а я, счастливая этой встречей, побежала, наслаждаясь развевающейся юбкой, восвояси.

Сажусь за свой стол, а там кровь переполняет расстрельную яму и ее приходится отводить ручьем. Это очередной лист свидетельских показаний. Вой людей, внезапно осознавших, что свежеврытая траншея, к краю которой их подвели, это их могила; этот вой слышат жители соседних деревень. Я беру

дело и составляю его описание, я должна только выхватить данные, опорные для будущего пользователя: названия мест, наличие сведений о массовых захоронениях, наличие списков убитых, имен преступников, статистики.... Вот случайно залежавшийся у меня листок с описанием одного такого дела.

Калинковичский район Полесской области. Декабрь 1944, 117 стр. Обобщенные сведения, акты, протоколы опросов и заявления свидетелей об акциях по уничтожению еврейского населения в сент.—ноябре 1941 г. в г. Калинковичи, м. Юровичи, о расстрелах евреев в д. Березовка, Огородники, Черновщина, Ситня, Антоновка, Ладыжня, Михновичи; о казнях местного населения за связи с партизанами; названы имена немецких преступников и их сообщников. Акт о вскрытии массового захоронения у г. Калинковичи, фотографии могилы. Поименные списки погибших.

Составила такое описание, но оторваться от чтения показаний свидетелей не могу, дочитываю каждую трагедию до конца. На столе у меня документы «Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию фашистских преступлений на оккупированных территориях СССР» (кратко ЧГК). Они легли в основу обвинительного заключения от советской стороны на Нюрнбергском процессе. С начала 1944 года комиссия собирала данные о преступлениях и об ущербе, нанесенном гражданам и государству — предполагались репарации. Огромный фонд ЧГК хранится в ГАРФ, и к моему появлению Яд Вашем уже получил кое-что: свыше тысячи дел в копиях. Описание этих дел — первое, что поручил мне д-р Краковский.

Я когда-то сказала подруге: чувствую, что закончу жизнь в овраге — в детстве, еще в журнале, я прочитала «Бурю» Эренбурга и остро ощутила свою близость к оврагу, когда евреи шли к Бабьему Яру.

Спасаясь тем, что вечером пересказываю мужу самое страшное из прочитанного, и тогда оно отступает, освобождая место завтрашнему. И странно — при моей склонности к страшным снам, только один тематический сон я видела в самом начале работы: я в большой яме, голос сверху расписывает предстоящие мне пытки и казнь, а я рою руками нору, чтобы спрятаться. А из той бездны ужаса, сквозь которую я прошла, на поверхности памяти осталось самое для меня страшное: смерти детей. Этот мартиролог собирался в разные годы из разных источников, которые попадались мне по службе. Вот примеры, вовсе не самые чудовищные, приводить самые рука не поднимается.

Кто-то из сельчан донес, что в доме соседки видел кроме ее дочки еще одну девчонку, чернявую, наверное еврейку. Мать застрелили, но прежде у нее на глазах обеих девочек бросают в колодец, связав вместе белую и черную косы.

Всех евреев увели на расстрел, двое мальчиков, семи и восьми лет, спрятались в доме, немцы их нашли, отрубили обоим руки по плечи и ушли, закрыв за собой дверь. Когда пришли соседи, они были еще живы.

После акций по массовому уничтожению полагалось предоставлять отчет о числе истраченных патронов, поэтому экономили на детях. В детских домах строят детей в ше-

ренгу, обещают сладкое. Проходя вдоль ряда, смазывают губы ядом, сладким, чтобы слизывали.

Старших детей и взрослых расстреливают обычным образом, на краю ямы или заставляя в нее сходить (некоторые сходят семьями, обнявшись). Для малышей рядом отдельная могила. Их привезли на грузовике, снимают оттуда по двое и передают крепкому немцу. Он несет обоих «на ручках», они обнимают его за шею. Подносит детей к столу, где сидит медик, который скальпелем режет им вены на запястьях, потом бросает их в яму и возвращается за следующими двумя. Впрочем, обычно поступали без таких изысков, проще: хребтом об колесо и в яму, или просто так, целенькими.

Из ямы голосок: «Папочка, зачем ты сыплешь мне песочек в глаза?» — отец рыл могилу, а теперь засыпает.

«Мама, почему надо снимать носочки, разве мы собираемся купаться?» Это немецкий солдат штыком показывает матери на носки: надо снять, одежда убитых сортируется, лучшее отправляется в Рейх, похуже — армейским, совсем плохонькое — местным.

Начало зимы, по лесной дороге гонят людей, по крикам слышно, что передние уже поняли, куда и зачем. Матери оставляют младенцев под елками, идет снег, и вдоль дороги получают маленькие сугробики.

Облава в гетто, готовится очередная акция. Люди спрятались в подвале, младенец на руках у матери кричит. Она

душит девочку, а когда все выходят — спаслись на этот раз — кладет дочку за порогом и прикрывает ей лицо тряпкой. Это ее собственный рассказ.

«Мама, давай выбросим Яника, с ним нам не пройти». Они бродят по деревьям уже давно, но впереди особо суровая застава. Мать и старший мальчик светловолосые, их пропустят, но младенец Яник несомненный еврей, погибнут все трое. И мать разворачивает одеяльце, заносит Яника над колодцем, держит, но разнять руки не может. Им повезло, они прошли, и это рассказ самого Яника со слов старшего брата.

Эту историю я прочла незадолго до конца службы и ночью увидела свой второй страшный сон. Будто выхожу на крыльцо, а в руках у меня младенец в одеяле. Вдруг одеяло соскальзывает с него, и он выпадает у меня из рук. Нечеловеческим усилием я подхватываю его над каменной ступенью, впившись в голое тельце внезапно выросшими когтями.

Смотреть на маленьких детей как раньше и получать чистое удовольствие от них у меня перестало получаться — вижу малышку, и сразу мысль: неужели и вот этого маленького можно убить? И такую красавицу тоже?

Вот уж истинно: кто умножает знания, тот умножает печаль. Что там во мне, сознание или подсознание переполнилось чужими смертями, не знаю, но я стала чувствовать себя одним из тех свидетелей, которые стояли на краю вскрытой могилы. Через несколько лет приехала я на свою бывшую дачу, пошла на свое любимое дальнее поле, там горизонт просторный. Села на пригорок, гляжу на дали и облака. По-

том чувствую что-то неладное. Обернулась, а за спиной — край песчаного карьера, раньше его не было. Смотрю вниз и ловлю себя на том, что прикидываю: а сколько тел здесь может поместиться?..

Однако, придя в Яд Вашем, я быстро стала выздоравливать, вижу это по своим письмам (они у меня вместо дневника). В июле пишу Мариэтте, что боль, которая глодала душу, прошла, осталась пустота: «Отнята жизнь, а другая, если она будет, еще ее нет».

В августе — Сарре Владимировне, что жизнь чуть (сейчас стыдно за это «чуть») устроилась: *«Всё моя работа. Вот уже третий месяц идет, и я потихоньку привыкаю к месту, к людям и к делу. Главное, чтоб волосы дыбом не вставали от того, что читаю. Стараюсь»*. Пишу о Краковском, который изредка спрашивает, не побоялась бы я поехать в Москву. Ему кажется, что это опасно. Он меня опекал. Я тогда всю работу делала от руки, на компьютер переходить боялась, и он, подсев рядом, смешно увещевал: да это все равно, что конница Буденного против танков. А однажды он взял меня в Кнессет (не помню, по какому поводу туда были приглашены люди из Яд Вашем), показал мне гобелены по рисункам Шагала, а потом мы слушали чьи-то выступления, и иврит меня уморил. Так и показали в кинохронике: я с важным лицом сижу рядом с Краковским, а глаза закрыты — явно сплю. Сколько смеха было в архиве.

Ну и, конечно, пишу Сарре Владимировне, что Лёня упивается летней свободой, пропадает у друзей. «Как дела?» — «Как сыр в масле катаюсь! — И уточняет: — Как дискета в компьютере». Взглянула, пишу, на него: новый какой-то,

здешний, а чем — трудно сказать, крепкий, что ли? Вот только я еще не здешняя...

В начале октября — первое мое серьезное испытание: Краковский кладет передо мной объемистую верстку — это будущая книга на основе материалов, не вошедших в свое время в составленную В. Гроссманом и И. Эренбургом знаменитую «Черную книгу». Дочь Эренбурга сохранила эти материалы и в 1985 году передала их Израилю, а теперь Яд Вашем совместно с московскими коллегами из ГАРФ подготовил их к изданию. «Книга сложена и отредактирована, — сказал Краковский, — осталось сделать только корректуру».

Корректурa не предполагает обращения к источнику, но уже первая страница была так полна несуразностей, что я решила сверить ее с подлинником. Несу Краковскому эту страницу, на полях живого места нет от значков правки, не только мелкой, но и смысловой. Так что, корректурa? Или заново сверка всего текста и редактирование? Доказывать не пришлось, все было ясно: «Делайте!»

Я долго хранила свой экземпляр верстки с правкой, эта работа подтвердила мою квалификацию. Из письма к С. В. Житомирской от ноября 92-го года: *«Издатель, Феликс Дектор, взглянув на правленный мной текст, все понял, и с его подачи это формулируется теперь так: “Мы понимаем, что такое Наташа”. Так что может и задержусь в этом удобном Богу заведении».*

Краковский одобрил и предложенное мною название. Беру с полки: *«Неизвестная Черная книга: Свидетельства очевидцев о катастрофе советских евреев (1941—1944). Иерусалим, Москва, 1993».* Жаль только, что он не смог впи-

сать меня в состав редколлегии, за мной значатся лишь подготовка текста к печати и именной указатель.

Прошел год с нашего приезда, и мы купили квартиру. Из Маале-Адумим решили не уезжать: цены ниже, чем в Иерусалиме, да и привыкли, — а как я здесь от всего болела! Благодаря тому, что моя зарплата приходила в банк, нам дали ссуду на двадцать девять лет.

Наша квартира сыграла со мной в игру, которая называется «Так в жизни не бывает». На нашей площадке еще одна дверь — три шага, там живут муж с женой и девочка-подросток. Они к нам внимательны, отдают кое-какие вещи, а у Кости с хозяином общий интерес — они меняются пластинками. Однажды Костя идет вернуть «Аиду» (сравнивали исполнения), вдруг прибегает и тащит меня за руку: Скорей! Я впервые у них, озираюсь и вижу фотографию: наш сосед стоит на ступеньках моей библиотеки! Там еще не сидит Достоевский. «Что ты (в иврите нет обращения на вы) делал в моей библиотеке?!» — изумляюсь я. И выясняется, что не просто в библиотеке, а в моем отделе рукописей! Оказалось, что он — директор отдела использования Национальной библиотеки в Иерусалиме и в этом качестве перенял на цветной носитель все собрание древних еврейских рукописей барона Гинцбурга. В мое время оно было наглухо закрыто для внешнего мира, до такой степени, что когда С. В. Житомирскую исключали из партии, одним из обвинений было то, что она разрешила скопировать для иностранца краткую опись этого собрания, при том, что эта опись имелась в пятнадцати библиотеках мира. И не иначе, как по воле мирового сионизма, я оказалась на одной лестничной

площадке с человеком, миссией которого было сохранить это собрание в целости, когда часть подлинников вскоре была расхищена новыми служащими отдела.

У Кости настоящей работы все не было. Ненадолго его взяли в Яд Вашем. Вместе с арабами он возился с землей: выпалывал ненужные цветочки, рыхлил целину тяжелым железным кайлом. Подходил к моему окну и приветственно поднимал его над головой, веселился. Потом сторожил ночью ворота на стройке, потом пошел на курсы холодильного дела.

О курсах надо сказать особо. Мы приехали в момент массовой русскоязычной иммиграции, поэтому было создано множество курсов для перекалфикации специалистов и адаптации их к израильским условиям. Курсы длились по несколько месяцев, оплачивались, и эта стипендия была хорошей добавкой к моей зарплате. Боже, сколько же их было, этих курсов! Компьютерный курс — сейчас трудно поверить, что мы приехали, совершенно не знакомые с персональным компьютером! И это при том, что в Союзе Костя руководил лабораторией математического моделирования физических процессов. Были курсы электриков, курсы по работе на станках с программным управлением, еще какие-то. Правда, работу после них никто не гарантировал. Казалось, нашелся прекрасный вариант — уборка в большой больнице, — не взяли по возрасту. Обещали работу после семимесячных ювелирных курсов, Костя прошел и их, по окончании был взят в богатую мастерскую, где из серебра делали массивную иудаику. Он неосторожно высказался о постоянно напевавшем религиозном соседе по мастер-

ской, и его выгнали. Потом был большой завод — чисто, зарплата терпимая, но работа на конвейере: не поднимая головы (за этим следят!), в одной позе восемь часов шлифовать золотые цепочки. По ночам стали отниматься пальцы, неметь шея, болеть спина, и пока мы думали, что делать, возникла Ася: немедленно уходить! — и мы очнулись.

У нее получалось спасать. Взяли котенка, кошечку, а дня через три она стала хиреть: сидит на пороге кухни, шерстка клочками, одно ухо опустилось, как у собаки, кротко смотрит на нас еще голубыми детскими глазками и даже из последних сил играть пытается; что делать-то, помрет ведь, а уже вечерет. Тут хлопает дверь, Ася видит эту сцену и кричит: «Да вы что, родное существо умирает, к ветеринару скорей!» Мы подхватили котенка, втроем помчались в город, успели к ветеринару, и кошка прожила у нас четырнадцать лет. Она оказалась из тех кошек, которые разговаривают, вмешивалась в ссоры — лупила сзади по ногам, чем вызывала общий хохот, знала, как лечить: лежала у мамы в ногах ее последние дни (когда она чесалась, мама просила: да уберите вы ее, она трясется!); когда я вернулась из больницы после шестичасового сердечного зондирования и свалилась без сил, кошка (она так и звалась: «Кошка», другого имени ей не нашлось, только Ася, талантливая на прозвища, звала ее «Бабунчик») — она пришла сразу, растянулась на мне во всю свою длину и не вставала несколько часов, пока я сама не зашевелилась. Прощание с ней было печальным до слез. Она изболелась и знала, куда и зачем ее несут, смотрела вперед черными во весь глаз зрачками и только мурлыкнула не обернувшись, когда Костя напоследок погладил ее по голове.

А завод тогда, по Асиному слову, был оставлен, и здоровье вернулось. Закончилась ювелирная карьера в маленькой мастерской при магазинчике. (Заходя туда, я пугалась: жесткий черный фартук средневекового ремесленника, грязь...)

И тут наконец срочный звонок от работника местной мэрии Бориса Гроссмана — он ведает трудоустройством репатриантов, говорит, что есть место для Кости с его докторской степенью, по той программе государственной помощи, которая помогла мне попасть в Яд Вашем. Примечательно, что для Кости срок получения этой программы заканчивался через три дня. И мы успели.

Квартиру купили на последнем, третьем этаже, крыша, она же наш потолок, — бетонная плита. Летом она излучает жар, зимой — холод и кое-где протекает. Зато по голове никто не ходит. Тогда, в 92-м, дом был еще новый, как и город, — им было по пятнадцать лет. Квартира была пуста и чисто выбелена; три маленькие комнаты и одна побольше, здесь она высокопарно называется «салон». Из нее и двух комнат вид был на Иорданские горы и северный кусочек Мертвого моря. Поближе — холмы Иудейской пустыни, их мягкий профиль напоминает холмы Коктебеля, нашего с Костей — там мы повстречались.

Еще одна маленькая комната смотрела во двор. Я наклонилась над окном, а там навстречу мне росло дерево, и легко было представить, как оно дорастет до нашего третьего этажа. Это дерево и решило дело! Потом оно оказалось белой акацией и за ним поднялись еще три. В апреле их грозди лезли в окно и запах духов стоял дней десять, если ран-

няя жара не губила цветение. Комната с акацией досталась Лёне, две другие маме и Асе, а из большой комнаты «салона» не получилось — туда въехала наша двуспальная кровать.

Кроме мебели, собранной за год у мусорников и отданной доброхотами, пришлось кое-что покупать. Витрины мебельных магазинов ошарашивали — такое разнообразие в прошлой жизни мне только снилось. Буквально! Иду во сне по улочке, сплошь уставлена светильниками, разглядываю их причудливые формы — во сне я дизайнер. Бывала и архитектором: радовалась уютному многоугольному дому, который сама себе выдумала; а то озиралась на маленькой площади с невиданными узкими домами цвета морской гальки, а один — шоколадного: я бросала им косточки, и они нагибались верхушкой, ухватывали их и выпрямлялись. Или я перекидывала на больших стендах гравюры, один лист был из тонкой меди с мелкой гравировкой, и его я рассматривала в мельчайших подробностях. Откуда такой дар, не заметный наяву?

В ноябре на три недели приехал брат Юра — покидая СССР, мы не надеялись увидеться так скоро. Ездили с ним и с мамой по стране, купались в Средиземном море у римского акведука в Кейсарии, вода была тихая, теплая и прозрачная. Брат всегда вспоминает: ведь это было в ноябре! (Сейчас тоже ноябрь, и я замечаю, как вкрадчиво близкие из Москвы или Ванкувера вставляют в разговор вопрос: «А у вас какая погода?» Услышав «двадцать», охают.)

Как-то мы с братом гуляли в нашем городке по «набережной», она нависает над пропастью, отделяющей нас от Иерусалима; на горизонте, по гребню Масличной горы, видны

Смотровая башня Еврейского университета, потом колокольня лютеранской церкви Аугусты-Виктории (там бывают органные концерты), и еще левее — «Русская свеча», колокольня при храме Елеонского православного женского монастыря. Туда трудно попасть, потому что он в гуще арабских домов, и это опасно, но мы однажды добрались до него. Был канун Пасхи, и нас нехотя — Косте пришлось убеждать в своих православных корнях, — но пустили на колокольню: на Пасху все мужчины могут звонить в колокол. Мы полезли наверх. Колокол оказался таким огромным, что мы не решились его тронуть, поднялись выше. Пока смотрели на него сверху, появился мальчишка и без стеснения стал раскачивать тяжеленный язык. В результате с верхней площадки колокольни мы озирали бесконечность под басовитое гудение близкого колокола. И почему-то очень обрадовались тому, что Стена Плача, храм Гроба Господня, эта «Русская свеча» и наш дом в Иудейской пустыне стоят точно на одной прямой. Чего только в голову не придет на такой высоте...

Мы тогда разохотились и пошли слушать пасхальные звоны в монастырь Марии Магдалины в Гефсиманском саду, где стоит пятиглавый храм московской архитектуры с позолоченными куполами, украшающий вид на Гефсиманский сад, если смотреть из Старого города. Туда не очень-то пускают, но у нас появилась там добрая знакомая, тогда послушница, потом сестра, а теперь, наверно, уж матушка. В русских монастырях всегда особый климат, будто вокруг не Иерусалим — свежая мягкая трава, весной крапива и заячья капуста. Она пропалывала молодые побеги между могилами монастырского кладбища и позволила заговорить с собой. Оказалась еще молодой, с трагическим

лицом еврейкой из Москвы, выпускницей Суриковского училища, узкая специальность — архитектор фонтанов. Но как попала сюда? Оказывается, сильно болела, чуть не умерла, и спасло видение: должна быть тут, в этом месте. В Иерусалиме у нее близкая еврейская родня, но признавать ее не хотят — за измену вере. Мы много раз ее навещали, благодаря ей приходили с гостями, пока ее не перевели в Вифанию. (Как давно мне знакомо это слово: у нас в Отделе рукописей был фонд Вифанской семинарии при Троице-Сергиевской лавре, названной по подобию той, иерусалимской. Карточка с этим названием каждый раз попадалась на глаза, когда я, дежурная по читальному залу, перебирала картотеку фондов в ящике на своем столе.) Так что после «Русской свечи» мы оказались в соборе Марии Магдалины. Кстати, в нем стоит рака Великой княгини Елизаветы Федоровны, сброшенной большевиками в шахту в Алапаевске. При закладке собора в 1884 году она пожелала быть похороненной на этом месте.

Да, так когда мы пришли слушать колокольный звон, девушка-арабка из Вифанской семинарии начала тренироваться в высоких рассыпчатых звонах, а мы слушали их, замирая, под лестницей в основании колокольни. Казалось, что мы всегда будем приходить сюда к пасхальному звону, да как бы не так...

Но все это будет позже. И пока мы стоим с братом на «набережной» в Маале-Адумим, разглядывая гребень Масличной горы, из-за него выплывают и выплывают облака, всегда оттуда (ветер всегда с моря!) и, расходясь в стороны, захватывают все небо. Когда солнце садится за гребнем

горы, позади трех башен, оттуда веером на все небо расходятся лучи, и кажется, что за горой, в Иерусалиме, и впрямь центр мира.

Мы с Юрой оторвались от ограда и направились домой, но тут нас окликнули из машины, она была полна людей.

— Мы ищем монастырь, как туда проехать?

(У нас в городе развалины монастыря св. Мартирия V века, одного из крупнейших среди сорока христианских монастырей, бывших в то время в Иудейской пустыне.)

— Чуть вперед и направо наверх, потом вокруг площади и налево под мост, там справа лестница наверх.

— Давно в стране?

— Год уже!

Тут они заплодировали моему ивриту, высовывая ладони из окон. Хотя, только они отъехали, я поняла, что напутала с последним поворотом.

На той прогулке брат сказал о Маале-Адумим: «Вы сами не понимаете, в какой красоте живете». Да нет, я уже понимала. На открытке, выпущенной к 15-летию города, видно, как он начинался. Тут были пустые холмы над пропастью, на ее краю когда-то стоял Бунин, и она представилась ему адом; ко дну пропасти от Иерусалима спускается дорога и круто сворачивает к Мертвому морю. На открытке видны три жилых вагончика и строительные механизмы.

Строили по единому проекту: дома по три-четыре этажа со стрельчатыми арками, лесенки, подпорные стены, валуны у дорожек, крошечные парки. Молодые деревья, кусты, цветы — все живет капельным поливом (везде трубки с дырочками); под утро сквозь сон слышишь шипение — это из земли выскакивают поливалки газонов и шаркают своими

веерами туда-сюда — так в зимней Москве в утренней темноте шаркал лопатой дворник.

Брат гостил осенью, она здесь не радуется разноцветными листьями с прелым запахом, как в России. Он еще не видел весны, когда цветут белые акации, лиловые ореховые деревья, а другие вывешивают красные щетки, точь-в-точь ершики для мытья бутылок. Мимоза перегружена шариками величиной с ноготь большого пальца, только они не пахнут, как те мелкие, которые привозили к Восьмому марта с Кавказа. Не пахнут здесь почему-то и розы. Только в дождливую погоду или когда машиной стригут траву, возникает родной запах Подмосковья.

В декабре приехал Сергей Мироненко, мы поехали с ним по окрестностям и впервые добрались до Мертвого моря. Поднялись по крутой опасной тропе выше Кумранской пещеры и оттуда смотрели на лежащую под нами огромную Иорданскую долину и на Мертвое море. Ему нравилось, а во мне вдруг прорезалась гордость хозяйки. Бедный Сережа, когда стали спускаться по осыпающейся предательскими камушками тропе, вдруг сообщил, что боится высоты. Однако дошли-таки... Вечером Сережа сидел у нас на диване усталый и похожий на нашего с ним учителя Петра Андреевича Зайончковского (с годами я вижу, что это сходство усиливается, может потому, что он и сам стал профессором на кафедре, которую мы с ним оба кончали). Мне примстилось, что мы втроем — Петр Андреевич, Сергей и я — вдруг встретились за моим столом, на краю, по тогдашним московским понятиям, света.

Он приехал как директор ГА РФ на международную конференцию в Яд Вашем и доложил о фондах своего архива, со-

держащих сведения не только о геноциде еврейского населения, но и о жизни советского еврейства накануне и после войны. Он говорил также о возможных формах сотрудничества: выставки, издания, конференции. Проект договора был составлен, и названо мое имя для осуществления контактов. Все шло как по писанному — месяцем ранее я писала Сарре Владимировне: *«Мне страшно хочется влезть в новую тему “Евреи и Кремль”, это было бы так интересно, и это возможность приехать для отбора материала. Не знаю, получится ли. Жду Сережу, может, он как-то подействует»*. Вот как раз приехал и подействовал.

Быстро все тогда происходило! В феврале 1993 года я поехала в Москву. Как трясло меня от счастья, когда самолет снижался над лесами, присыпанными снегом, над незамерзшими речками, над крупитчатыми пятнышками дачных поселков! Снова Москва, и дорогие люди, «и сколько восклицаний»! Однако неприятно в родном городе, когда в нем больше нет своего дома... Зато появилось новое ощущение: «нездешняя» я теперь здесь, а дом — он у меня есть, только там, и он мне по душе. Сказали даже, что у меня изменился взгляд. Больше того, в это первое возвращение на родину, выслушивая близких, очень понимая и сочувствуя им, я уже видела себя защищенной от их проблем, потому что у меня появился тыл: моя другая страна.

Летом 93-го со мной полетела Ася, и забавно было, как быстро она отвыкла от прежней жизни: мы подлетаем к Москве, и я показываю ей на тучу с черной бахромой — дождь, мол. Она в ответ, уверенно: «Летом дождя не бывает!» Вот она уж точно изменилась: ее сразу высмотрели

в метро — они с моей подружкой Лилей несли багажную сумку — и именно у Аси потребовали паспорт. Регистрации в паспорте не было, повели в участок; Лиля сопровождала и потом рассказывала, как Ася, тут же перехватив инициативу, не дала милиционерам опомниться: как же — она, коренная москвичка, всю жизнь прожила в Москве, а ее смеют задерживать! И много чего еще. Опешившие милиционеры отпустили ее без штрафа. Я, наоборот, увидев милиционеров (они теперь ходили по двое), натягивала на лицо, как шапку-невидимку, приличествующее москвичам постное выражение. Да еще пугалась, когда из меня выскакивали обиходные ивритские слова — *слиха* (извините), это какой автобус ушел? *Тода раба* (большое спасибо), а то и разоблачительное *шалом*. Но могла ли я подумать, что так быстро отвыкну от большого города, от медленной тугой толпы к эскалатору, от запаха подмышек, которыми зажата в автобусе, от привычки всегда таскать с собой туалетную бумагу. И от бесконечной езды в метро. Интимность нашего городка и малые расстояния гляделись из Москвы благом.

Не верится, что я опять иду от метро «Фрунзенская» к бульвару на Большой Пироговской, где на углу вход в Сережин архив. Я не вхожу, мне надо сначала взглядеться в здание напротив, за бульваром, в Институт акушерства и гинекологии: вон за теми окнами в полукруглой угловой оконечности корпуса родились моя дочь и где-то там же сын. Мысленно кланяюсь окнам — двое детей! Хотя — как забыть... «Женщина, что вы так кричите, вы не в зверинце!» — дежурная сестра раздражена, а врач в самый разгар моих потуг вдруг ушел на утреннюю пятиминутку, изуверски запретив

мне тужиться, и скоро час, как его нет. Я, понятно, погибаю, но вдруг ребенок не выживет?!

С входными дверями архива у меня вечное непонимание, зато потом гардероб и высокое зеркало — во скольких возрастах я в него смотрелась, вот и снова довелось. В приемной выдает пропуска всегда строгая женщина, глубоко заприятанная в маленькое окошко. Показываю пропуск и российский паспорт милиционеру и поднимаюсь в читальный зал архива, оформляю анкету, в графе пишу: да, прежде здесь занималась... Читальный зал — сколько жизни я в нем просидела: с дипломной работой, потом по надобностям отдела рукописей (сравнивала, к примеру, почерки для установления авторства документов), наконец, собирая материалы для публикации наследия декабриста барона В. И. Штейнгеля. Переписывала все рукой, копирования тогда не было. Помню, как спешила успеть побольше в преддродовом отпуске и только поглядывала в окна на садик в архивном дворе, такой всегда привлекательный со своими деревьями и скамейками. Походить бы там! Бедный будущий Лёнька, он бьется в животе, не вмоготу ему моя неподвижность!

Но в читальном зале мне не сидеть, там причудливое расписание и ограничен объем заказа на день, поэтому мое место будет в служебном корпусе, в отделе использования, и его сотрудники помогут в поиске материалов. В ближайшие два года я проработаю у них еще четыре раза по месяцу.

Из просмотренных тогда фондов по новой для Яд Вашем теме «Советская власть и евреи» выбираю для примера один. Большой фонд Комитета по делам религий при Совете министров СССР, он создан в 1943 году одновременно с на-

чалом реставрации разрушенных к концу 1930-х религиозных институций. Фонд на спецхранении, но гриф секретности снимается с заказанных мною дел.

Уполномоченные Комитета по всем регионам страны и столицам с календарной периодичностью присылали в центр отчеты о жизни религиозных общин. В отчетах разделы по вероисповеданиям, я просматриваю «Иудейское вероисповедание». Чего там только нет: число разрушенных во время войны синагог, число и даже списки вернувшихся из эвакуации евреев; трагические обстоятельства, связанные с неприятием их местным населением... В частности, информация о настроениях в еврейской среде, которая может быть истолкована в пользу предположения, что Сталин действительно готовил депортацию еврейского населения, прологом к которой должно было стать «дело врачей», а эпилогом — новая Катастрофа, только теперь не европейского, а советского еврейства.

Отчеты уполномоченных, включающие доносы агентурной слежки, говорят о растущей в еврейской среде атмосфере страха и плохих предчувствиях. Отчетность по Москве все больше усложняется, а осенью 52-го появляются даже подневные графики. В них отмечается число приходивших в синагогу на каждую из молитв. Оно постоянно уменьшается — евреи боятся ходить в синагогу. К статистике прикладываются агентурные сведения о разговорах в толпе. В Песах 52-го года, как положено, молящиеся заканчивают молитвы словами, знакомыми каждому еврею. «Евреи выкрикивали лозунг, — доносит агент, — “В следующем году в Иерусалиме!”»

Молва о возможной депортации распространяется, и когда 5 марта объявляют о смерти Сталина, агент доносит, что

в синагоге трудно было протиснуться, и что люди кричали: «Мы спасены!» Теперь мы знаем, что удар хватил злодея 28 февраля, аккуратно в день, на который в тот год пришелся Пурим, древний праздник спасения еврейского народа от уничтожения. Остается только выбирать между мистическим небесным и реальным земным: кто заступился за советских евреев? Бог? Или Лаврентий Берия?

Первый день Песаха в тот год пришелся на 30 марта и, по донесениям, народу в синагогах снова было мало, зато после объявления 4 апреля в «Правде» о прекращении «дела врачей», 7-го, в последний день Песаха, агенты докладывали, что в синагогах не хватало места и евреи стояли на улице.

С тоской отрывалась я от Москвы, она еще была своя, измученная, но не искаженная разрушениями, новшествами и богатством. И люди были свои, мои приезды соединяли родственников и друзей — без меня они перестали встречаться. Каждый вечер кто-то жадно ждал меня. «Сестрица, как, ты больше не придешь? Ты приходила всего два раза!» — говорил брат Рома, тот, который оторвал меня от двери в начале моего рассказа. И еще почти никто не умер. При всех уже признанных достоинствах моей новой жизни, в ней дружеского круга не хватало.

Хорошо, что вскоре много народу стало приезжать к нам в гости. Мы показывали им Израиль, чувствуя себя по праву хозяевами страны, хотя сами мало что знали. Тогда евреи с арабами соседствовали бесконфликтно, и мы спокойно ездили в Иерусалим через арабскую деревню Азария на юго-восточном склоне Масличной горы. С ней нас разделя-

ет дорога, поднимающаяся от Мертвого моря, а соединяет общий перекресток: к ним направо, к нам налево, наши холмы друг против друга. Мы тогда понятия не имели, что Азария — это евангельская Вифания, и мы передвигаемся в пространстве напряженной святости: воскрешение Лазаря (в мусульманском названии селения просвечивает еврейское имя Элиезер), паломникам показывают его могилу: характерное для I века захоронение в скале. В конце XIX века еще показывали и руины дома, где Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией. Сколько великой живописи породили связанные с этим местом евангельские сюжеты: открыла Вифанию в «Википедии» и первое, что увидела, — Вермеер, Христос в доме Марфы и Марии. Через символику жестов и предметов читается все, сказанное Христом.

Как близко все на этой земле, все на расстоянии пешего хода. И осел не всегда нужен. Проехав по извилистой узкой Азарии среди суесящихся арабских машин, выезжали на простор, где справа греческий монастырь, огибали его — а впереди Гефсиманский сад и над ним золотые купола церкви Марии Магдалины. Там — налево, через ручей Кедрон, и оказывались под стенами Старого города, ехали вдоль них, над Кедронским ущельем... Теперь эта дорога для нас закрыта, а объездная, через блок-пост, вдоль забора безопасности, вдвое длиннее.

Да, когда мы приехали, между евреями и арабами не было явной вражды. Однажды нам помог араб, а евреи мчались мимо нашей машины, не останавливаясь. Мы стояли на обочине шоссе Иерусалим — Тель-Авив, у нас кончился бензин, а мама должна была прилететь из Москвы, мы

ехали ее встретить, и я терзалась, воображая, как она будет волноваться, не видя нас.

Машины неслись со свистом, надежда успеть кончалась, но вдруг к нам съехала подержанная колымага, и из нее вышел большой, страшный, как разбойник на картинке, заросший черными волосами араб. Костя объяснил ему про бензин, я про маму. Он открыл Косте дверцу — садись, и они уехали... Страшные мысли лезли в голову, я крепилась минут двадцать, но они вернулись. Костя вылез из машины с бутылкой бензина, очень довольный. Араб тоже вышел, и я спросила, сколько ему заплатить. Он показал — несколько. Тогда я с чувством пожала ему руку — лопата, а не рука, Костя тоже, и он уехал. Оказывается, он не просто, как просили, довез Костю до ближайшей заправки, но и подождал в сторонке, пока нальют бензин, и вернул его обратно. Мама испугаться не успела.

Я помню чувство благорасположения, с каким пожимала руку тому арабу. Помню врача-араба, который лучше всех в глазном отделении делал опасный укол в глаз, и сестры говорили, что у него золотые руки и они молятся на него. Помню, с каким довольным лицом он выслушивал мои восторги его мастерством.

Но теперь чаще бывает другое, и я не узнаю себя, когда в автобусе сидящая напротив молодая арабка явно приглашает меня посмотреть на смешного мальчонку у нее на коленях, а я отворачиваюсь. Будто это не я. А дело в том, что днем раньше арабы взорвали другой такой же автобус, полный евреев, возвращавшихся с молитвы у Стены Плача, среди погибших целые семьи из нескольких поколений, от дедов до малых детей. Арабка любит ребенка и ждет

моего взгляда, но я сижу с окаменевшим лицом, чтобы нечаянно не улыбнуться.

А наш городок на диво спокойный. После Москвы странно было видеть, как маленький ребенок с рюкзачком один идет в детский сад. Или еще чуднее: в сумерках трое детишек, лет семи, четырех и двух, с соской, стоят на краю тротуара, и старшая тянет руку; запихнула младших в машину и сказала нам, куда везти. По рассказам, в Москве детей в школу одних уже не отпускали...

Да, у нас долго было спокойно. Но рядом, в восточном Иерусалиме, осенью 2014 года вспышка террора. Внуку на днях исполнится одиннадцать лет, он глядит в открытое окно на тихую теплую осень и тянет: «Хороший у нас город. Спокойный. Потому что арабов нет...» И тут же звонит дочь: «Марик пришел из школы? Папа дома?» Оказывается, в супермаркете рядом с Маале-Адумим араб шестнадцати лет, которого подвезли из его Азарии, схватил нож в мясном отделе и пырнул двоих пожилых покупателей. Правда, убить не успел: профессиональный охранник, случаем оказавшийся рядом, выстрелил ему в ногу. Муж спрашивает, о чем разговор, а я машу на него рукой, подожди, пусть Марик не сразу выпадет из своей грезы.

Впрочем, это поразительная страна: кого-то чуть не зарезали, а рядом продолжается безмятежная жизнь. Спустя пару дней, уже в темноте, мы вышли пройтись по «набережной»: полная тишина, в одну сторону дороги — только кошка, в другую на полкилометра — тоже никого. Однако нет, возникла девочка лет семи, и мы отступили, чтоб ее пропу-

стить. Она прошла, обвисший рюкзачок, худенькая. Я сказала поощрительно: «Надо же, одна идет!» Она обернулась: «Что?» Ее неожиданный русский нас рассмешил: ну где еще такое встретишь, как не в городке с видом на ночные огни Иерусалима. «Иди, иди, — махнул Костя. — Молодец, все хорошо!»

Крошечная страна, и всякое лыко в строку. Вчера пятиминутные новости в восемь утра начались чеканным голосом Евгения Кушнера (кстати, сына поэта): «В дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Кфар-Йона погиб Давид Хай Коэн, житель одноименного поселения. Его транспортное средство столкнулось с вышедшим на дорогу верблюдом». Вторым шло сообщение о крайне неблагоприятном для Израиля голосовании в Европейском парламенте.

Возвращаюсь в 90-е. В Яд Вашем сменилось начальство, вместо Краковского директором архива стал молодой американец Яков Лазовик, историк (теперь он главный архивариус страны, заведует Государственным архивом); Арад тоже ушел, а новую должность председателя Совета директоров занял бригадный генерал армии Авнер Шалев. За двадцать лет при Шалеве архив переехал в новое здание, появился современный мультимедийный музей, а документальная база Мемориала выкладывается в интернет. С обоими новыми начальниками мне довелось работать. Но Россия в их интересах перестала быть приоритетной. Помню огорошившее меня научное заседание, на котором было заявлено: «Россия подождет. Она стабильна». Возражения не были услышаны, и всю собирательскую деятельность архива переориентировали на Европу. Публикаторские функ-

ции архива перешли к новому Научному отделу. Все это помешало выполнению договоров о совместных публикациях Яд Вашем с российскими архивами. Последнее, в чем я участвовала, было переиздание на русском языке книги: «Еврейский Антифашистский комитет в СССР. 1941—1948. Документальная история» (М., 1996).

Я как раз отсылала замечания по сверке текста научному редактору этой книги Г. Костырченко — сидела за столиком у окна и бодро стучала по клавиатуре. Яков Лазовик, высокий, худой и быстрый, как мальчишка, распахнул дверь, уставился на меня и спросил Тикву: «Это та, которая не умела печатать?» Так мы познакомились.

Скоро он послал меня на годовичные курсы повышенного иврита, это было очень кстати, хотя само пребывание в одной комнате с Тиквой Фаталь уже развязало мне язык. Родители Тиквы бежали, бросив свое богатство, из Ирака, у них было восемь детей, и она рассказывала мне, как долго они бедствовали. Получалось, что в ней течет древняя кровь тех евреев, которые не вернулись из Вавилонского плена. И лицо у нее, казалось мне, подобающее: смуглое, подтянутое, глазастое, с четко очерченными носом и губами. Она недавно вышла замуж, детей родить опоздала, делала докторат и стала помощницей Якова. Два года мы сидели лицом к лицу — она спиной к окну, а я лицом к ней. О чем только ни переговорили за это время; помню свой наглый вопрос: неужели иврит может выразить все богатство культуры? Конечно, ответила она со спокойной гордостью.

Она правила мои ивритские тексты, всегда готова была подбежать помочь и доводила меня до изнеможения неотвязной доброжелательностью. Стоило откинуть голову

и уставиться в потолок, мучаясь, к примеру, трудной фразой, как она спрашивала: «О чем ты сейчас думаешь?» Я сбегала от нее в туалет — о, какая чистота, благовония, кафель и в открытом окне — сосны, можно стоять и глядеть на них. В московском архиве в туалетах иногда нельзя было ступить на пол, сотрудники приносили с собой мыло, о туалетной бумаге и речи не было. Помню, как впервые поразила меня разница цивилизаций, выраженная через культуру туалетов, когда в путешествии по ГДР в 1974 году после осмотра концлагеря Маутхаузен мы зашли в туалет, стены которого сияли розовым кафелем, а по приезде в Брест посетили советское вокзальное заведение.

Тиква закончила докторат и перешла в Научный отдел. Изредка мы виделись, потом связь прекратилась. К тому дню, когда ее провожали на пенсию, я давно не появлялась в Яд Вашем и она меня не ждала. Все уже были в зале, а Тиква пока стояла с кем-то в опустевшем фойе. Она увидела меня издали, и я с удовольствием услышала ее радостный вопль: «Наташа!»

Летом 1995-го я поехала собирать материалы в провинциальные архивы: Тверь, Калуга, Смоленск, Псков — любимые города, в каждом были уничтожены евреи.

В Смоленске я познакомилась с человеком, которого мать вытолкнула из колонны уходящих на расстрел в придорожную канаву, и он, маленький и юркий, убежал, незамеченный, заросшим полем.

В Пскове еще одна встреча: женщина по фамилии Йоффе рассказала мне историю своего спасения. Семья успела бы спастись, но отец, банковский служащий, не мог бросить

оставшиеся в банке мешки с деньгами и охранял их, когда остальные работники убежали. Первым в городе его сразу и повесили. Мать с девочкой, ей было лет шесть, выжили благодаря австрийскому офицеру, который два года не выпускал их из дома. Потом его перевели куда-то, и их сразу забрали в Печерский лагерь (они были светлые, не похожие на евреек), мать умерла там от дизентерии (лагерь был в трехэтажном доме, и дизентерийная жижа лилась по ступеням лестницы, не пройти), а девочка выжила после разных злоключений и до шестнадцати лет росла у спасшей ее врачихи. Она затащила меня домой познакомить с семьей. (В интервью, которые Яд Вашем берет у спасшихся в Катастрофе, последний обязательный вопрос — о потомстве, о продолжении жизни рода. Я тоже брала такие интервью.)

Мы потом переписывались, а за спиной у меня сейчас висит подаренное ею блюдечко с псковской церковкой. Вот оно, в тесной компании двух напоминаний о наших молодых путешествиях: перегородчатая эмаль с угловой башней Спасо-Прилуцкого монастыря и глиняная табличка с изображением собора Юрьева монастыря в Старой Ладогe. Собор высоченный, а табличка меньше половины ладони, но художник чудесным образом передал в поливной миниатюре ощущение от высоты собора: широкий у основания, он быстро сужается кверху, а маковки совсем крохотные. При этом массивное здание собора угрюмо нависает над надвратной колокольней с двумя приделами по бокам, стоящими на переднем плане...

В то лето кто-то посоветовал мне зайти в архив Института истории Российской Академии наук, заглянуть в мате-

риалы комиссии академика Минца по изучению Великой Отечественной войны. Документы оказались уникальными. Если работа ЧГК начиналась по прошествии значительного времени после освобождения и велась забюрократизированным методом опроса населения по заранее подготовленной схеме, то эмиссары комиссии Минца появлялись на освобожденных территориях сразу после ухода немцев и брали именно что интервью, в свободной форме, без вопросников. В такой обстановке показания... нет, вернее повествования не были еще отфильтрованы общением с возвратившейся советской властью, чувствовалось живое дыхание только что пережитого. Люди перебирали все события, начиная с объяснения причин, почему они остались под немцами, будто предчувствуя, чем это им вскорости обернется. Касались и судьбы евреев, не всегда сочувственно — им еще не навязывалась, как в ЧГК, обязательная формула об убийствах «ни в чем не повинных евреев».

Летом архив работал два неполных дня в неделю, но мне сделали одолжение и приносили дела для просмотра каждый день, только в комнату особистки, под ее присмотром. Директор Института истории Академии наук А. Н. Сахаров, в те годы большой либерал, легко согласился на предложенную мной цену копирования, и через неделю я подала на заказ первый список дел. Если бы я от усердия не снабдила каждое дело аннотацией, все могло бы обойтись, но ученый секретарь, к которому заказ пошел на подпись, вчитался и понял, что для них открывается новый пласт документов, о котором они не знали. И цену сразу удвоили! Я звоню Тикве: «Надо соглашаться!» — «Нет, мы столько не платим». — «Уговори Якова!» — «Нет». Пока я кричала и умоляла, что

надо решать скорее, цена выросла уже втрое. Я досмотрела все дела и уехала с полным аннотированным списком нужных документов, но — без копий. Впоследствии Москва воспользовалась моим списком и опубликовала скудную выборку документов, безо всякого научного сопровождения.

Заключительная сцена не состоявшегося сотрудничества происходила в большом кабинете у Сахарова. За круглым столом сидели приглашенные им специалисты по истории Великой Отечественной войны, я в центре, отдельно от всех, выслушивала их обвинения в том, что я «намереваюсь вывезти национальное достояние страны» и что они сами давно планировали заниматься исследованием Холокоста. Мне было стыдно за них и смешно, и в ответ я только сказала, что странно слышать от маститых ученых об уроне национальному достоянию, когда оно остается на месте, а речь идет только о копиях. И что я рада слышать, что моя работа способствовала вспышке в России интереса к Холокосту.

После долгого отсутствия, по дороге из аэропорта домой, я смотрела на каменистую почву здешних лесов (их много, и все посажены, и не верится, что до появления еврейских поселенцев земля была голая) и думала: нет, хорошая у нас земля — трудно было бы копать расстрельные рвы. Тогда в голову не приходило, что опасность придет с неба ракетами или еще чем похуже, и хоронить-то будет некому.

Осенью Шалев собрал всех, чтобы каждый доложил о положении в своем секторе. Я говорила о российских делах, и успешных, и проваленных, о планах, остановилась, чтобы вдохнуть, и выдохнула: «Ну вот», отчего русские засмеялись.

Когда закончила, Яков сказал: «Четыре года назад она не говорила на иврите». И все захлопали, а в перерыве Шалев разыскал меня: «Надо поговорить!» Однако разговор состоялся не скоро, и мне пришлось самой его начинать.

Пошла налаженная жизнь. Зимой 96-го мы поехали в Рим — и не просто поехали, а жили в Риме, так велел говорить наш друг Самуил Шварцбанд, профессор-славист Иерусалимского университета. Он пребывал в Риме по делам, снял роскошную квартиру и пригласил нас разделить с ним жильё. Он же показывал Рим, в котором бывал не раз, и Флоренцию. Мы много ездили по Европе, но так красиво, как в Риме, нигде не жили. Вечерами Сенька ждал нас с роскошным ужином, с торжественным воплем «Антипасто ди маре!» выковыривал из банки морских тварей и разливал кьянти.

Мы до такой степени были опьянены Римом и Сенькиными разговорами о русской культуре в Италии, что однажды, любясь с балкона на огромный парк виллы Ада, уходящий от подножия нашего дома (дом стоял над обрывом) к голубым холмам Италии, оглянулись — и удивились скульптуре на балконе соседнего здания: спиной к нам, в шляпе и в серой полотняной крылатке, сутулясь, стоял Гоголь. Ну и ну, у них тут Гоголь на балконах, изумлялись мы, пока не разглядели, что это просто сложенный парусиновый зонт.

Разумеется, мы не успели увидеть в Риме все, что хотелось бы. Искали, например, слона Бернини с египетским обелиском на спине, но он никак не попадался. Я Сеньку замучила этим слоном. И в самый последний день слон позволил себя найти. Вечером мы с этим известием ждали Сеньку. Он ввалился домой, отдуваясь: «Наташка, нашел я

тебе его, стоит слева от Пантеона! На *Пьяцца! делла! Минерва!*» — провозгласил он, как всегда смакуя итальянские слова. И как огорчился, что опоздал!

Итальянского мы, конечно, не знали, радовались только знакомым — по музыке — словам типа «фермата» (всего-то автобусная остановка!), но однажды ощущение немоты нас на минуту отпустило. Муж, который не может пройти мимо витрины с часами, затащил меня в маленький часовой магазин на Виа дель Корсо. Хозяин магазина внезапно заговорил со мной на иврите. То-то была радость! Иврит полился, как родной.

Иногда так хочется снова оказаться в Риме! Но пока еще не собрались...

Сенька... Только его дружеская настойчивость — напиши, чего хочешь, а я возьму! — усадила меня за стол. За мной был долг, провал в диссертации: я не могла в России 1870-х годов показать подлинную роль еврейского вопроса в правительственной политике в отношении образования. В папке с карандашной надписью «Евреи», выхватить которую из чемодана в аэропорту подтолкнуло меня Провидение, была вся история введения процентных норм для евреев в 1887 году. Шварцбанд статью опубликовал в своем — филологическом! — сборнике «Jews and Slavs», в четвертом томе, да еще уверял, что она его украсила.

Теперь соседкой по комнате была Меира Эдельштейн, прежде секретарь Арада, а еще раньше — президента Израиля Леви Эшколя; это имя я знала только по названию автобусной остановки. То было тихое уважительное соседство.

Я описывала документы, привезенные из России, и теперь мой иврит редактировал Лёня. Вспоминая об этом времени, я сказала ему: «Что бы я без тебя делала!» Он ответил: «А я без тебя...»

Кто-то дал денег на проект по введению в компьютер тех свидетельских показаний с именами погибших, которые попали в разряд «нечитаемых» (сейчас в базу данных Яд Вашем введено уже около четырех миллионов имен жертв Катастрофы и поиск их хорошо организован). Каждый лист показаний содержит множество данных: имя, фамилия погибшего, дата и место рождения, имена его родителей, место и дата гибели, вплоть до указания личных данных свидетеля и его связи с погибшим. Язык свидетеля мог быть каким угодно: польский, русский, идиш, иврит, немецкий, французский, да еще на каждом листе свой почерк, неразборчивая закорючка подписи... Проект был жестко ограничен во времени, поэтому сняли помещение с несколькими залами и наняли студентов. Они сидели по периметру зала человек по двадцать, если не больше, тряслись от страха, что медленно работающих выкинут (снаружи был хвост из желающих подработать), и только на нас, сотрудников архива и Зала Имен — по одному на группу — и была их надежда.

Я сначала ходила на крики «Сейчас ко мне!», потом ездила на кресле по кругу, а самые ловкие хватали меня за юбку и притягивали к себе. Я вглядывалась в каракули на незнакомом языке и диктовала по буквам нагромождения шипящих, они послушно вводили их в нужное окошко, и вдруг выскакивало правильное слово — оно ждало нас в тезаурусе (для унификации при подготовке проекта были приняты

единые написания имен и топонимов). «Ты и вправду великая!» — сказала мне одна студентка, выпуская из кулака подол моей юбки. Это было здорово и к тому же не трудно (в своем отделе рукописей я научилась читать и не такие почерки). Потом мы сами сели за компьютеры.

Часы работы не ограничивались, платили сверхурочные, и на эти деньги мы устроили себе нечто вроде балкона, скорее террасу: пробили стену, вышли на прилегающую крышу, обнесли ее решеткой и стали там ночевать — настоящий Восток, и даже вой арабов из Азарии в четыре утра нам не мешал; нас будили птицы, мелкие, с нежными голосами, да воробьи трещали с другой стороны на соседнем дереве. Кошка их бодро ловила, нападая из-за угла, приносила похвастаться, наших укоров слушать не стала, продолжила ловить и объедки уже прятала в грудку сухих листьев в углу балкона.

Галки только начинали осваивать наш новый для них город, изредка радуя знакомым тьявканьем. Они появлялись все чаще, и наконец большая стая галок облюбовала дерево возле нашей автомобильной стоянки, и в сумерках мы шли домой под нежный полусонный гвалт их стойбища.

Ворон тогда еще не было, зато сейчас они освоили удобные для проживания кипарисы вокруг дома и осмелели так, что скоро дорогу уступать перестанут, а на рассвете каркают рядом, словно нарочно будят. Голубей не так много, как в больших городах, но они донимают своими стонами, а иногда и фразами. Один умоляет: «Пожалуйста! Пожалуйста!» — невольно гадаешь, о чем это он, может, чье-то предостережение передает? Звучали еще гекконы, липнувшие к стенам ящерики с пальчиками веером и внимательной

головой, они цокают, как молоточком по наковальне. Теперь почти вся мелочь, которая движется, включая бабочек, сожрана кошками; остались ежи, в темноте выходящие из джунглей кустов, да улитки, когда сыро.

Мама часто сидела на этом большом балконе. Утром готовила обед, немножко спала, потом кормила умотанного двумя автобусами Лёню. «Бабушка, — просил он, — если хочешь, чтобы я ел, не говори мне сразу о еде!» У нее не получалось, и в домашний анекдот вошло, как она открывает ему дверь: «Лёня, я о еде не говорю, но на плите...» К вечеру выходила к подружкам, они сидели на скамейке под нашим домом, и она радовалась, когда я, возвращаясь с работы, подходила поцеловать ее. Старухи шушукались: «Катина дочка!» Мама рассказывала: Матильда умная и хорошо знает иврит, Эллу никто не любит, она злая, Хану жаль: родственники из экономии не разрешают ей лишний раз открыть холодильник, включить чайник, часто спускать воду в уборной... Весной 96-го на мамин юбилей (85 лет) мы накрыли длинный стол, пригласили всех-всех, и сколько было потом разговоров!

И вдруг мама заболела. Сначала, показывая на грудь, она говорила: «Тоска какая-то...» — «Пойдем к врачу?» — «Нет, ничего не болит». И даже выгнала меня в Москву, где уже не было работы; я по Москве скучала, но ехать отказывалась, пока она не хлопнула по столу: «Ты поедешь, иначе я уйду, мне есть куда!» Я поехала, а осенью врач сказала: «Желтуха». Но через месяц отняла надежду: «Нет, хуже». Этой желтухой мы морочили маме голову, она только удив-

лялась: «Что за болезнь такая? Никак не проходит!» Только за три недели, не мне, а Косте сказала: «Пора кончать с этим». — «С чем, Екатерина Моисеевна?» — «Пора умирать». Он в очередной раз сидел дома на пособии по безработице, а я вечерами ради прибавки к зарплате торчала на бредовых курсах повышения квалификации, так что уход за мамой лег на Костю.

Она умерла ночью, в полном сознании. В два часа сказала: «Это конец!» и захотела сесть. Справа ее поддерживал Костя, слева села Ася, а я стояла, подогнув колени, и держала ее голову, как она хотела, у себя на груди. Утром, после врача, за ней пришли двое из похоронного общества. Мы сидели рядом с мамой, они вошли и сразу молча взяли за концы одеяла, на котором она лежала, небрежно мазнув грубой тканью по ее лицу. В этом старом, вытертом верблюжьем одеяле, с которым мама не хотела расставаться, они шустро понесли ее вниз по лестнице, а я бежала за ними в тапках, плохо соображая, не в силах отпустить ее. От машины меня отогнали. Вскоре по телефону сообщили, что похороны уже в два часа дня.

Жестоко это — так вырывать умершего из рук родичей. Считается, что это милосердие, но у меня была только оторопь. Когда умерла папина сестра-близнец тетя Эся, а папа летел из Москвы в Ташкент с какими-то приборами спасти ее и не успел, он провез ее по всем местам их детства. Для него это было не просто мертвое тело, а она, его сестра. Когда через несколько лет папа умер, тоже в Ташкенте, с самолета его привезли прямо в крематорий, и это было последнее свидание: я гладила его лицо и уговаривала не бояться.

Когда там же прощались с Костиной матерью, он стоял за ее головой и грел ладонями ее глаза, как он сказал, пытаюсь возвратить ей часть того тепла, что недодал при жизни. Только здесь, в Израиле, я узнала, что у евреев с момента смерти человек есть только прах, до которого запрещено дотрагиваться...

Ни хлопот, ни денег от нас не потребовалось. Хоронили на большом иерусалимском кладбище «Хар ха Менуха» («Гора Отдохновения»). В большом прощальном зале — ничем не смягченные бетонные стены и бетонный потолок, пусто, мы пришли первыми. Кто-то невысокий юркий ухватывает меня за рукав: «Пойдем со мной!» Малозаметная дверь, туго спеленатый сверток. «Хочешь посмотреть на нее?» Я киваю. Он начинает раздвигать слои ткани, окутывающие голову. Так вот, что такое саван! «Не беспокойся, мы ее хорошо промыли, ляжет чистая». Внутри кокона я вижу мамино спокойное бледное лицо. И страшный штрих, который окончательно отрывает ее от меня: свернутый на сторону нос. «Она?» Я киваю и снова оказываюсь в общем зале.

На узком длинном каменном столе мама казалась удивительно маленькой. Поминальную молитву — кадиш мне доводилось слышать в красивом напеве, ее слова мудрые и утешающие. Жаль, что над мамой они так спешили, что слов было не разобрать.

Так же быстро сверток унесли на носилках в машину и увезли. Когда мы подоспели к участку, где маме выделили место, носилки уже опускали вниз, и Ася едва успела подтащить к краю могилы заторможенного Лёню.

Все кончилось, и я тупо стояла с ощущением страшного одиночества: сколько народу пришло бы проводить ее в Мо-

скве! И тут наконец я оглянулась и увидела, что вокруг, заполняя весь участок, стоят люди, много, каждый отдельно, как деревья, — это собрался Яд Вашем! И пространство потеплело.

На следующий день, 24 декабря 1997 года, Лёне исполнилось восемнадцать лет. В июне он окончил школу и на две недели, остававшиеся до армии, уехал в Россию: ему часто снился Кубринск.

Страшно было: все-таки армия, хоть и израильская, а не российская. Лёнька пикнуть не давал — он мог бы и не ходить, но дело чести! И я утешалась анекдотами, таким, например: генерал проводит смотр в части, все в строю, а один солдат сидит в сторонке. Генерал обходит строй — солдат сидит. Наконец генерал подходит к нему и спрашивает: «Рабинович, почему ты не в строю? Может, ты на меня за что-то обиделся?»

За три года армии Лёня изменился и повзрослел, как все они тут, и, как все, приезжал с автоматом на выходные домой — отсыпаться. Служил он в диспетчерском пункте военно-воздушных сил, расположенном невдалеке от Рамаллы. Однажды мы имели случай наглядно убедиться, насколько тут всё рядом, близко, перепутано, слиплось в комок. Мы стояли на холме, и экскурсовод показывал: вон там — Рамалла с резиденцией Арафата, левее и правее — два еврейских поселения, ближе — арабская деревня, а если повернуться к ним спиной, то вот они, пригороды Иерусалима. Помню, как ухнуло сердце: эту кашу невозможно разделить! В начале 2000-х, в разгар арабских бесчинств, выехать обычным путем с Лёниной базы было невозможно, и на по-

бывку солдат перевозили по воздуху в огромном вертолете прямо на площадку возле Кнессета, а уж оттуда их разбирали родители.

На исходе третьего года службы Лёня подал документы в Еврейский университет, на который когда-то показывал мне Костя: «Вон там он будет учиться». Он был принят на компьютерный факультет без экзаменов, просто по результатам аттестата и психотеста. Потом говорил, что если б не армия, приучившая к тяжелой работе, не превозмог бы и первого семестра. Однажды, придя на побывку, он пожаловался: «Череп лопается от информации», а мы ему в ответ вытащили снимок того Берниниева слона, нагруженного пятиметровой каменной глыбой, в подножии которого надпись на латыни: «Необходима прочная голова, чтобы выдерживать твердые знания».

До начала учебы Лёня снова поехал в Москву, и я с ним. Как всегда был общий сбор по поводу моего приезда, и он обещал прийти. Мы с Лилей вышли навстречу, и она первой его разглядела: «Вон идет наш израильский агрессор!» — он шел свободно, высоко держа голову.

Я заканчиваю свои записки.

В конце 90-х мне удалось убедить руководство Яд Вашем вернуться к сотрудничеству с российскими архивами. Помню, я не спала ночь, решая, что делать с письмом, в котором я перечислила все нереализованные, в том числе по нашей вине, возможности. Письмо я адресовала Шалеву, копию Якову. Пойти с ним прежде к Якову? А вдруг он вспомнит, что «Россия стабильна», и велит еще подождать, тем более что контакты с европейскими архивами куда как проще?

Пойти сразу к Шалеву? Неловко перед Яковом! Утром я постояла перед крыльцом административного корпуса, где наверху Шалев, и пошла к себе в архив. Яков всегда был доступен. Я положила перед ним письмо. Он пробежал начало и спросил: «Шалев уже видел?» — «Нет». — «Ты думаешь, он не знает, что это я виноват в разрыве с Россией? Неси».

Я снова работала в Москве. Вот лишь несколько эпизодов. Мы с Шалевом в архиве у Сергея Мироненко, я в роли консультанта и переводчика. Объем предстоящей работы такой, что в одиночку с просмотром и отбором документов на копирование мне не справиться, надо найти людей, которые работали бы на нас в неурочное время. Шалев хочет знать, сколько за это надо платить. «Спроси, — говорит, — сколько она получает в месяц, и сколько стоит здесь то, то и то?» Я перевожу ответ с рублей в доллары. Шалев не верит: «Ты что-то путаешь, на это нельзя прожить, спроси снова!» — «Но, Авнер, сейчас трудное время! Дефолт и прочее!» С трудом поверил, кажется...

До нашего отъезда из его канцелярии от меня добились, какой ресторан в Москве самый лучший. Нашли, у кого спрашивать! А тут — помог наш атташе по культуре, и мы вместе пошли в ресторан «Пушкин». Трое лакеев — тут все было в стиле эпохи — поставили перед каждым что-то под блестящей выпуклой крышкой и встали, вытянувшись, за нашими спинами. Бог миловал: я не успела потянуться к крышке, как они одновременным балетным движением их подняли. Угораздило же меня заказать баранину на косточках! Вывернув голову, я шепотом спросила у своего за стулом: «Как это едят?» Он наклонился и — тоже шепотом: «Руками». Потом мы бежали вереницей через Тверскую

на Дмитровку, и они только оглядывались, не отстаю ли. Я раньше не видела балета «Тщетная предосторожность» и смеялась: хорошо поставлено! А он — нет. «Авнер, тебе не нравится?» — «Нравится, но ты не представляешь, сколько я такого за жизнь насмотрелся...»

В последний день в Музее еврейского наследия и Холокоста на Поклонной горе нам показали кино. С потолка спустились экраны, окружили нас кольцом, и мы оказались как бы в центре событий. Сначала пошли кадры, для нас, работников Яд Вашем, привычные, — сцены отправки евреев на смерть и горы трупов. И вдруг... перепутали они, что ли, порядок показа, пошел второй фильм, «Мир штетла» (местечка), в котором все они еще живы. Они ходили, сидели, разговаривали, что-то делали. Их дощатые кривые дома. Худое лицо старухи с громадными глазами в окне. Бегают дети. И лица их — невозможно родные мне... Мне стало их так жалко, что я, неожиданно для себя, разрыдалась, и только не знала, как спрятать свою трясущуюся спину от Шалева, нашего посольского и от заведующей музея, с которой Шалев собирался договариваться о сотрудничестве.

Началась долгая переписка с Россией, вплоть до МИДа, но все уперлось в Федеральное архивное агентство, Росархив, откуда года полтора не было ответа. И кажется, не предвиделось. Яков говорил: надо ждать.

22 декабря 2002 года умерла Сарра Владимировна, и я, конечно, взяла отпуск за свой счет и полетела на похороны. На всякий случай зашла к Якову спросить, не надо ли чего. «Нет, ничего, мы ждем».

На проводах было много народу, я решила выступить последней и пропустила вперед всех, кто воздавал С. В. должное как ученому и архивисту. Я, наоборот, говорила о ее значении в моей жизни, каким она была человеком и руководителем. И закончила фразой из кадиша, аббревиатура которой высекается на надгробии. Сказала сначала на русском, потом на иврите, и этим перед лицом собравшихся утвердила ее принадлежность к еврейскому народу.

Потом были поминки в ее доме. Полно народу, мы с Мариэттой и — вот он, случай! — Владимир Козлов, начальник того самого Росархива. В дружеской обстановке он не отказался принять меня для делового разговора. Мариэтта пошла со мной, и мы добились-таки того, что он подписал положительный ответ на давно лежавшее у него письмо.

Наконец все решено, мое частное пребывание в Москве превращается в командировку, и Номи, заместительница Якова, просит назвать ей банковские счета, на которые переводить деньги нанятым людям. Я говорю: «У них нет банковских счетов». — «А как же они получают зарплату?» — «Становятся в очередь к окошечку». С трудом поверила.

По договору с архивом, который я сама и составила, получалось, что я должна была за каждый месяц работы в Москве оставлять заказ на сто тысяч листов копий. Ездил два раза в году. Листала архивные дела, с диким напряжением выхватывая нужное; глаза уставали непозволительно, тело погибало от непрерывного сидения...

Однажды мне сказочно повезло: после рабочего дня друзья провели меня на мастер-класс Ростроповича в Центре оперного пения Галины Вишневской, пели «Царскую невесту». Было два отделения, и несмотря на то что такой

шанс выпадает раз в жизни, я едва высидела только первое и, проклиная себя и «эту жизнь», со второго — ушла... Но с наслаждением вспоминаю, как маленький быстрый Ростропович по-мальчишески одним махом усаживается на стол у рампы (а мы сидели очень близко) и, болтая ногами, ехидно улыбается корпулентной Марфе, из которой вырывается истошный вопль: «Не погуби души моей, Григорий!» «Что ты кричишь? Так только напугаешь его. А ты тихо скажи, вот так... Он лучше поймет!» И он произносит эти слова вполголоса, с отчаянием последней надежды. И представьте себе, у нее сразу получилось!

Время и нервы требовались также и на непростые переговоры о копировании в других архивах, и на работу в них. Потратить время на обед в столовой было жалко, брала термос и жевала где-нибудь наскоро. Зимой мне холодно, я отвыкла от мороза, и ветер, кажется, выдувает все тепло из груди. А скользко-то как! Иду, оскальзываясь, от Кропоткинской вдоль бульвара, страшно оторвать глаза от наледи и взглянуть на название переулка — правильно ли я свернула, и я спрашиваю у встречного с портфелем: это Сивцев Вражек? Он кивает, взмахивает портфелем, падает на спину, и так на спине и подъезжает ко мне под ноги — смех и грех!

Всего в результате моей работы Яд Вашем получил для своего архива больше миллиона листов копий. Вспоминаю, как в последний приезд бегу под морозящим дождем через архивный двор, бегу, а внутренний голос бормочет вслух:

*«...хочу в свой Израиль,
хочу в свой Израиль,
хочу в свой Израиль...»*

Большой валун, красиво уложенный в начале дорожки, ведущей к нашему подъезду, давно с головой зарос плотной зеленью, а мы, когда надо объяснить, как к нам идти, всё ссылаемся на него, а потом спохватываемся — не видно его! Акации перед окнами, когда-то меня прельстившие, вдруг стали стареть, расцветают скупой и с натугой, и каждый год кажется, что в последний раз. Но эта беда приключилась здесь со всеми белыми акациями, остальные деревья вытянулись и возмужали до неузнаваемости, как соседский мальчик, которого не узнаёшь, когда он в военной форме с автоматом идет домой на выходные.

Лет десять назад площади и видные места города украсили древними оливами. Где только нашли такие... Огромные скрученные обрубки, дуплистые, в сквозных дырах, измученные жизнью — не деревья, а их останки. Казалось, что они так и будут стоять голышом. Но нет! Откуда ни возьмись, появились ветки, листья, и теперь они обзавелись мощными раскидистыми кронами идеальной формы. Ближайшей к нам оливе, судя по табличке, две тысячи лет, той, что подальше, — полторы.

Всё здесь уже привычно, но иногда накатывает: где я?! Иду по дорожке крошечного парка (раньше был пустырек), куст, а в кусте мелькает что-то голубенькое — не успела я разглядеть, как дважды воззвал голос: «Моше-е! Моше-е-е!» От куста отделился малыш и побежал на голос: «Я уже!» Иудейская пустыня... Куст... Моше — маленький Моисей, который отвечает маме пока еще по-русски...

Двадцать три года прожито в Израиле. Хорошо бы здесь и остановиться. Разве что добавлю несколько эпизодов.

Вот Ася полюбила будущего мужа, ничего еще не решено, он позвонил ей на работу, задержал на выходе, она опоздала к своему автобусу — и осталась жива. Ее автобус взорван арабом-самоубийцей, и Ася говорила, что куски тел висели на решетке балкона рядом с остановкой. Незадолго или вскоре после этого в таком же автобусе погибла ее подруга. Красивая, молодая, она недавно вышла замуж и счастливо забеременела. А муж, в то опасное время взявший за правило не допускать ее до автобуса и всегда возивший ее на работу, только один раз согласился отпустить ее одну, недалеко, сделать первое обследование, и сам посадил в автобус.

У Кости сохранилось обручальное кольцо его деда, внутри — имена деда и бабушки, Павел и Анна, и 1905 год, дата их свадьбы. У наших — те же имена (Ася — домашнее), только сто лет разницы. Кольцо мы подарили жениху. Свадьба была еврейская: хупа, раввин, торжественно раздавленный стакан под обязательное «Да отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, Иерусалим», вход в зал с факельным эскортом от ресторана, все увито цветами, круглые столы с угощением, сто гостей, огромный торт, а потом диджей и долгие танцы под русско-еврейскую музыку. Пашка прыгал, как мячик. Мы не могли насмотреться на фильм, снятый тогда.

И вот акушерка сует мне в руки наскоро завернутого внука — ее требуют к роженице, хотя там и так полно народу. Я робею, но она говорит: «Что ты боишься, он же родился жить!» Мы с ним смотрим друг на друга: он похож на Асю, будто это она снова родилась, только глаза большие и голу-

бые, как у Паши. Ближний ко мне немного заплыл, а дальним он силится разглядеть меня. Все расправляется в нем: что-то тихонько лопается в легких, подергиваются плечи.

Жизнь идет, через девять лет у нас за столом Лёня с Олей (они недавно поженились на Кипре). Мы пообедали, болтаем о том о сем, и вдруг Лёня встает, обходит стол и сует мне в руки какие-то бумажки: «А вот дополнение к семейному альбому!» — «Что это? — бормочу. — Да я и не разберу...» Какой-то большой черный треугольник с мутными разводами... Передаю бумажки Косте и вдруг догадываюсь, что это УЗИ, и хриплю: «Что?..» И тут же, окончательно понявши, ору: «Что?! Что?!» Они, довольные, смеются и говорят: уже видно, что мальчик.

Жизнь идет, прошло еще года два, телефонный звонок: Лёня спрашивается о здоровье, несколько малозначащих фраз... Не похоже на Лёню, обычно на работе он так занят, что не терпит лишних слов. Костя уже готов спросить: чего звонишь-то? — как Лёня его опережает:

— Маму позови. Хотите хорошую новость?

Маале-Адумим, март 2015 года

P. S.

Ну вот и с плеч гора посуды.
Осталось фартук снять. Опять
Я перед вечером пасую:
Как быстротечность осознать?

Главы из ДЕТСТВА

Глава 1. ГОСПИТАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК

У меня новая клавиатура, с большими буквами, — вчера, 28 февраля 2013-го, были в институте Майкельсона, и нам дали ее на два месяца. Оптометрист Вероника (ударение на втором слогe — она из Венгрии, а не русская, каковой кажется), делавшая проверку, поставила мне таблицу с цифрами, которую я прочла до последней, мельчайшей строчки (это потому, объяснила она, что цифры в них стоят просторно, а номер машины даже очень близко прочитываю с трудом). Читала таблицу с восторгом, как будто вернулась из страшного сна или небытия. (Примечание мужа: ты сказала сильнее — «будто я вернулась», не уточняя откуда.)

Вечером вдруг пошла цепочка воспоминаний о детстве на Госпитальном. Записала вкратце, побежала печатать, напечатала довольно много, а компьютер вдруг погас и все написанное пропало. Будто сверху прикрикнули: «Знай свое место!» Но успела-таки представить себе, что теперь меня ждет: я планировала записать лишь те эпизоды моей жизни, память о которых никогда не покидала меня, но с удивлением увидела, как погружение в любой из них совершенно неожиданно вызывает к жизни нечто такое, о существовании чего в глубинах подсознания я и не подозревала. На каждом шагу память, следуя вроде бы изведанным маршрутом, мимоходом приводит в движение совсем другие картины прошлого, застывшие, как в детской игре «Замри!», только давным-давно.

Я родилась в Москве в мае 1940 года на Арбате, у Грауэрмана. В маминой коробке из-под парфюмерии — белой,

твердой, с накладным тканевым букетиком, где она хранила первые волосы детей и внуков, — лежит заскорузлая клеенчатая повязка из этого родама с фамилией мамы и словом «дочь».

Мы жили тогда в доме для служащих и слушателей Академии химзащиты, где работал мой отец, химик. Дом стоял в глубине петровской Немецкой слободы, в Лефортове, и значился по Госпитальному переулку (дом 4-а, квартира 6 — заученный в малолетстве адрес; трогает меня совпадение: уже больше двадцати лет я снова живу на третьем этаже, в квартире 6, только в городке под Иерусалимом). Переулок спускался своим неровным разноцветным бульжником от Малой Почтовой к крутому повороту на Госпитальную улицу, а та почти сразу — к мосту через Язу, за которым слева на пригорке стояла петровских времен (1706) «Военная Гошпиталь» — так и написано на фронтоне.

Через этот мост нас из детского сада водили иногда гулять в Головинский парк (тогда парк МВО — Московского военного округа), он тянется вверх от моста и вправо вдоль Язуы. Идти через мост, как все люди, у меня никак не получалось — ни за что нельзя было наступить на шов между плитами.

С одной такой прогулкой связано у меня страшное прозрение. Мне было лет шесть. Мы перешли мост и остановились справа у входа в парк, как раз напротив госпиталя. (Он и посейчас военный. Покрашен ли все еще в смягченно-красный цвет или я этот цвет придумала?) По его широкой белокаменной лестнице спускались люди, наклоня поднятый на руках гроб. Надрывно гремели духовые. Я поняла, что это — гроб и что в нем нельзя дышать, когда его закроют

крышкой. Душу схватил озноб: смерть существует и не похожа на спящую красавицу или на мертвую царевну.

В меня так внедрился этот испуг, что я старалась как можно сильнее оттянуть момент этого прозрения для своих детей. Маленькая Ася увидела по телевизору похороны Маяковского, его везли на грузовике в закрытом гробу. «Как же он там дышит?! Как же он там дышит?!» — кричала Ася, а я в ответ малодушно плела что-то невнятное. А теперь пытаюсь увиливать от внука, хотя уже три года назад мы с ним похоронили жука, чтоб ему спокойно лежалось в песочке и никакая птица его не склевала. Когда через пару дней он пожелал раскопать ямку, посмотреть, как там жук, я сказала, что не принято, что жуку нужен покой и что через некоторое время он сам превратится в песочек. Но он наконец прямо задает вопрос, когда же придумали хоронить людей в землю и как они там дышат, и я отвечаю, что им уже не надо дышать, и поспешно увожу разговор в знакомый ему Древний Египет или к русичам, которые и вовсе своих не хоронили, а сжигали, — так сильно во мне сидит тот давний ужас.

Так вот, про Госпитальный. Это были родные исхоженные места, так что папа, когда его перевозили в машине «Хлеб» с Лубянки в Лефортово, догадался, куда везут, по извилам Почтовых и Госпитальных (тюрьма стоит у Яузы, после моста — крутой поворот влево). Наш дом был построен широкой буквой П, три подъезда с квартирами и по бокам два крыла с коридорной системой. Посредине был мой двор. Обогнув левое крыло дома, поднимались по небольшой горке к давно исчезнувшим воротам на Госпитальный, от которых еще долго оставались два кирпичных столба (они видны на снимке 1971 года), а рядом, на тротуаре, вентиля-

ционная тумба — чугунный столбик с нахлобученным большим колпаком, похожим на каску; удивительно, что такие столбики еще попадаются в старой Москве (мы всегда им умилялись, считали коновязью, а нынче интернет разъясняет нам их назначение). Наверное, это о них у Набокова: «Какой там двор знакомый есть, / Какие тумбы! Хорошо бы / Туда перешагнуть, пролезть, / Там постоять...»

Дорожка от дома к Госпитальному была зажата слева спиной каменного склада текстильной фабрики «Победа Октября», где работала мама, а справа — забором, сквозь щели которого внизу были видны старые деревянные домишки, спускающиеся к Яузе. Один такой стоял вплотную к правому столбу бывших ворот. За забором жила моя школьная подружка Алка Полякова, милая, со светлыми волосиками; мы с ней ходили на переменах по школьному коридору, обнявшись: мне всегда было достаточно хотя бы одного близкого человека, чтобы чувствовать себя уверенно; в пионерских лагерях, иногда трех разных за лето, я поначалу плакала от тоски по дому, но только до первой подруги. На школьной фотографии мы с Алкой и еще двумя классными отличницами стоим под громадным портретом величавого Сталина, и я улыбаюсь ярче всех, как фонарик — видно, это третий класс, и отца еще не арестовали.

А с портрета, сделанного в седьмом классе — сижу за партой в пионерском галстуке — я смотрю мрачным, тяжелым взглядом: 53-й год, отец летом вернулся, мы жили пятером в одной оставшейся у нас комнате, и я засыпала на своем сундуке ногами на родительскую тахту под бесконечные папины рассказы приходившим друзьям о следствии, о пытках, а мне, девчонке, до судорог боящейся тараканов,

особенно страшна была история о «шкафе», в котором он простоял двое суток, где даже нельзя было согнуть колени, шкафе, наполненном грызущими насекомыми... Зря я вгляделась в эту фотографию...

Моя чистенькая нежная Полякова жила в первой от входа в дом комнате, я иногда заходила за ней по дороге в школу. Чтобы попасть в Алкин дом, надо было справиться с двумя дверьми: сразу за первой дверью была вторая, обитая ватным тряпьем, она открывалась туго, а за ней — коридор, всегда заполненный душным паром от кипячения белья. Надо было быстро нырнуть в комнату, там слева белая кровать с горкой подушек, а прямо — низкое широкое окно. Это окно приводило меня в тайный ужас (как они тут живут?!) — при подходе к дому взгляд натыкался на выгребную яму сбоку от окна, прикрытую неплотно сбитыми досками. Еще молодой Алка сторела вместе с этим домом.

Первая моя школа на Ладужской (перейти бульжный Госпитальный, Малую Почтовую и свернуть на Ладужскую — этой дорогой, мимо Немецкого рынка, ходили к метро «Бауманская») была шестиклассной, маленькой и тесной. Учительницу Дарью Федоровну я любила; а у нее, кроме плохого почерка, ко мне претензий не было. Меня посадили с отличницей Галькой Соковой, чопорной педантичной девочкой, от которой вместо красивого почерка я надолго переняла манеру щелкать костяшками пальцев или, увлекшись книгой, мучить края страницы. А дома со мной боролась бабушка, когда я делала уроки по чистописанию — и все равно тетрадь пестрела тройками и четверками.

История с почерком окончилась вот чем. Последняя, третья моя школа была через забор от нашего двора, я шла на золотую медаль, написала выпускное сочинение и болталась в своем старом дворе, прежде чем уехать домой (уже три месяца, с марта 57-го, мы жили на Юго-Западе), как вдруг какой-то мальчик окликнул меня и передал просьбу нашей учительницы литературы срочно зайти к ней в школу.

Нинель Ильинична Йоффе находила у меня литературные способности. Из ее похвал помню только одно: она прочла классу мое изложение по рассказу Паустовского «Телеграмма». Недавно я рассказ перечитала. Он был приложен к интернетной статейке о Марлен Дитрих, которая на сцене ЦДЛ встала на колени перед стареньким Паустовским (его привезли по ее просьбе) и поцеловала ему руку, сказав, что ничего сильнее этого рассказа она не читала. Я перечитывала рассказ, как заново, смутно, по ходу чтения, припоминая сюжет, а в конце заплакала, как тогда, в детстве.

Нинель Ильинична, молодая полненькая с мягким лицом еврейка, вышла ко мне из учительской и повела в конец уже пустого коридора. У стеклянной двери на лестницу она сказала: «Ты написала сочинение хорошо, я не сделала ни одной поправки, но боюсь, что из-за твоего почерка в РОНО тебе снизят оценку. Вот тебе чистая тетрадь со штампом, иди, перепиши красиво и сразу верни мне. Я буду ждать» — и сунула мне в руки тетрадку. В напряженном испуге за нее и за себя я добежала до проходной маминой фабрики, благо было рядом, вызвала маму, она провела меня к себе в лабораторию, расчистила стол, и я старательно переписала эти свои «Образы молодогвардейцев». Что ж, правильно, что евреи помогают друг другу. Без золотой медали я может и не

поступила бы в университет. Впрочем, думаю сейчас, глядя на выпускную фотографию, где рядом с Нинель Ильиничной вижу лицо классной руководительницы Елены Георгиевны, не вместе ли они решились на этот опасный шаг...

Да, почерк... А самыми томительными были уроки чтения — тогда в первый класс приходили неграмотными, а я, видимо, быстро стала читать и маялась, слушая муки еще не научившихся. С этой темой связано у меня драгоценное, потому что единственное живое, воспоминание о моем дед, мамином отце. Мне скоро семь, я сижу у него на коленях у стола, и он уговаривает меня: «Давай сделаем родителям сюрприз — давай научимся читать!»

Научиться не успели, он внезапно умер перед самым днем рождения мамы. Металлическую блестящую пудреницу, которую он успел купить ей в подарок, мама свято хранила, и рассказ про эту пудреницу я слышала сто раз. Попробуй я сейчас лишний раз рассказать о чем-то мне дорогом своим детям — «Ма-ам! Я слышу это в сотый раз!»

По каким законам та сцена с дедом так долго и счастливо живет в моей душе, не знаю, но благодаря ей я еще раз встретила с ним, как с живым, и тоже у стола. Только теперь во сне. В первую неделю после смерти мамы, неделю траура у евреев, которую в этой стране полагается отсидеть дома, принимая сочувствия приходящих разделить горе, меня посетил дед. Я сижу, как положено, в комнате, и мне сообщают, что в соседнюю пришел и ждет меня дед. Я иду туда, открываю дверь и с порога произношу: «Дедушка, это я, Наташа!», опасаясь, что он не узнает во мне нынешней свою маленькую внучку. Дед сидит у стола, такой же прямой, худой и высокий, и те же длинные удобные колени,

и знакомое — знакомое теперь, конечно, по фотографиям — лицо с выцветшими, как у мамы в старости, глазами. Я подхожу к нему и приваливаюсь к его плечу и колену. Что-то сотряслось там, в сферах, с переходом мамы в иной мир, и нам с дедом даровано было это свидание.

Пишу как бешеная, едва успеваю отвечать на призывы памяти. И телевизор кстати сломался, хотя я и не собиралась на него отвлекаться. Будто кто-то сверху подстраховал, плечо подставил. Вот уже второй раз иду поесть и дать глазам передохнуть, но не дохожу, возвращаюсь, тороплюсь к ним, к воспоминаниям — после того как слишком долго их не обнадеживала, унывала, не верила, что смогу. А они ждут, хотят родиться, как хотел и мучил меня желанием через меня прийти в этот мир мой третий ребенок, на которого мы с мужем не решились. «Выпусти меня оттуда, где меня нет!» И потом, я так давно силой держу их при себе, рассказываю мужу, а иногда при редком счастливом случае кому-нибудь из близких (с опаской увидеть в глазах скуку), что начинаю задумываться — а сколько их останется во мне в скором времени? Так бывает со сном: запишешь наскоро, о чем он, а потом не вспомнишь подробностей, которые и были главными.

Я в детстве видела много страшных снов (с подушкой в руках перебегала в кровать к бабушке, перелезала через нее к стенке и успокаивалась, зарываясь в ее теплое рыхлое тело). С восьми лет я эти страшные сны помнила, боялась их повторения, а отстали они от меня, когда лет в тридцать я завела тетрадь, чтобы записать их — и стала записывать все

последующие. Первый страшный сон мне легко датировать, я знаю, откуда он, — крематорий. Вначале контакт с крематорием меня не напугал. Умер дед, на процедуру прощания меня не взяли, но взяли на захоронение праха. Весна, тепло, мне пока еще шесть лет, на фотографии мы, четверо внуков, стоим понурые среди взрослых у распахнутой клеточки с урной в стене колумбария, но страха я не чувствую — дедушки тут нет, мне только жалко горюющих взрослых.

Но вот в конце сентября 1948 года умерла Эмма, жена дяди Миши, маминого брата, ее тоже захоронили в колумбарии Донского кладбища. Холодная осень, мне уже восемь с половиной, и это было в другом, полуподвальном колумбарии: несколько ступенек вниз, за дверью — темнота, пока провожатая не включила тусклый свет в маленькой прихожей и потом — в одном из трех расходящихся от нее лучами длинных узких коридоров, до потолка в клеточках с урнами. В коридоре стыло, запотевшие стеклянные дверцы, бумажные цветы, фотографии на урнах, много еще пустых, незаселенных ячеек... Идем долго, тетя Эмма в самом конце коридора. После этого и случился тот сон.

Иду по бесконечному коридору, вернее по анфиладе комнат. Захлопываю одну дверь — три шага вперед — открываю другую. Каждая сзади захлопывается навсегда. Не помню уже, есть ли впереди надежда, во всяком случае каждая новая дверь пока без сомнения открывается. И между дверями справа — комнаты с одной лавкой, на которой сидит мертвый. Он пока терпит, что я иду мимо. Подробностей гадких нет, просто он мертвый и вечно так сидит, чуть ли не в балахоне серо-черном или покрывале — неважно, главное мертвый и всегда в своей комнате сидит. Очень

страшно. Записывая, догадалась: страх был, что очередная комната — мне. Потому что двери открывались «пока».

В дальнейшем жизнь не скупилась на сюжеты для снов про крематорий. А когда уезжали из России, одной из маленьких утешающих радостей была мысль, что этот крематорий меня уже не поглотит.

Пройдусь обратно той же дорожкой — от ворот на Госпитальный к своему дому. Надо было спуститься с пригорка, взять влево и, обогнув крыло дома, войти во двор. А если вместо этого сразу пойти вперед, то чуть правее стояло торцом двухэтажное здание, зажатое между моим домом и невысокой маминой фабрикой, вытянувшейся вдоль Малой Почтовой. Я не знала тогда, что это все, что осталось от дворца графа Дмитрия Петровича Бутурлина, построенного в конце XVIII века, и что наш дом, и двор, и хозяйственные постройки Академии, и мой детский сад, вплоть до Яузы видны из нашего окна, — все это стоит на месте бывшей усадьбы, а фабрика — на месте парадного въезда, охваченного когда-то флигелями. Обширная усадьба, спускаясь до самой Яузы, заканчивалась внизу большим прямоугольным прудом. Граф был неординарным во всем: причудливая карьера, свободное владение многими языками, сильнейшая страсть к книгам и собирательству. Дом его славился гостеприимством, огромной библиотекой, к которой граф допускал желающих, и коллекцией разнообразных раритетов. Перед приходом французов граф бросил усадьбу; имущество, в том числе библиотека, было разграблено, а дом сгорел. О том, какие там были раритеты, можно судить по большим часам работы самого Кулибина, обладавшим неисчислимыми возможно-

стями — домоправитель успел спрятать их в пруду и они сохранились, но после долгих блужданий по рукам их след затерялся. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось.

Дом, о котором я рассказываю, как я теперь понимаю, и есть остаток центральной части дворца; он был близко виден из нашей задней комнаты и кухни: его желтая стена с окнами старинной формы. Взгляд на эту красоту несколько огорчала высоченная кирпичная труба котельной, расположенной в подвале нашего дома (теперь этой трубы нет). Вход в дом был с другой стороны, между домами никто не ходил, мы не играли и травка всегда нетоптаная, а тень от нашего дома создавала некую пасмурность. Эта пасмурность таинственным образом сочеталась с нестройными томящими звуками духовых инструментов, которые неслись из тех окон — разыгрывались музыканты расквартированной в доме музыкальной роты Академии.

Дом называли «татарским», потому что в нем жили еще работники котельной и дворники других домов, принадлежавших Академии. Однажды я была там у своих одноклассниц близняшек Бабуевых. Кажется, помню высокую залу, а татары жили в отсеках, отгороженных чуть ли не простынями; Бабуевы спали на двух- или трехэтажных нарах. Кларка Бирюкова, главная подружка моего детства (Клара Петровна Михайлова, я изредка звоню ей в Москву и мы вспоминаем прошлое) недавно рассказала мне, что они с матерью зимой 41—42-го года перебрались из нашего дома в этот — в нем можно было топить печи, конечно, сохранившиеся с XIX века.

И всегдашняя горькая моя мысль: как мало мы интересовались нашими взрослыми! Сейчас узнала от Клары, что ее отец был политработником в Академии; с началом войны

ушел на фронт и быстро погиб, но с фронта успел написать, чтобы в эвакуацию не уезжали: если немцы возьмут Москву, то отъезд окажется бесполезным. Такие, значит, были ожидания в начале войны среди фронтовых политработников: Москву сдадут, режим рухнет, вся страна под властью немцев. А вот что ее мать работала там же в Академии бухгалтером, это я знала всегда: она брала нас в академический клуб смотреть кино, и детский фильм «Счастливого плавания» мы, счастливые, смотрели раза четыре; впрочем, там показывали и трофейные фильмы, с тех пор помню «Большой вальс» и оперу «Паяцы».

И неожиданно Кларка добавила, что помнит разговоры, будто в том доме, позади нашего, бывал Пушкин. Ну и ну! А я как раз целый день думаю, что детство свое проводила в одном пространстве с Пушкиным и могла бы увидеть его из нашей кухни в окне дома напротив... если б совместить мое и его время!

Сейчас все объясню. Вскоре по приезде в Израиль наш новый друг, славист и пушкинист Самуил Шварцбанд подарил мне как москвичке книжку о Пушкине в Москве, и я, повинувшись смутному воспоминанию, сразу полезла искать свои места. И радостно вскрикнула. Ну да, Пушкин бывал в доме Бутурлиных. И этот дом был тот самый, окно в окно с моим! За подробностями зашла в интернет. По свидетельству современников, Пушкина привозили во дворец на детские балы, он был знаком с библиотекой, мало того, в 1810—1811 годах Пушкины жили в двух шагах, в начале Госпитального переулка, в усадьбе И. В. Скворцова, сослуживца и друга Сергея Львовича. Бутурлины, Скворцо-

вы и Пушкины были на коротке. И дядя, Василий Львович, тоже жил неподалеку, у Разгуляя. Все они запросто заходили друг к другу. Академическая «Летопись жизни и творчества Александра Пушкина» 1999 года определяет время посещения Пушкиным дома Бутурлиных 1805—1811 годами.

Осенью 1810 года, за год до отъезда Пушкина в Лицей, постоянным посетителем дома Бутурлиных «непрерывно, как по должности, каждосубботно» стал М. Н. Макаров, оставивший уникальные воспоминания об одиннадцатилетнем Пушкине. По наблюдениям Макарова, уже тогда «он очень хорошо знал цену поэзии». Это Макаров рассказал, что в этом доме, напротив моего, впервые было предсказано великое будущее маленького поэта: *«Ученый-француз Жиле дружески пожал Пушкину руку и, оборотясь ко мне, сказал: “Чудное дитя! как он рано все начал понимать! Дай Бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет”»*.

У Макарова есть и маленькая деталь, которую он мимоходом упоминает, для меня одной, может, дорогая: кто-то невзначай прочел вслух пушкинское четверостишие, после чего «отрок» Пушкин отделился от детской компании *«и очень скоро ушел домой»*. Вот! отрок — просто взял и ушел домой! Значит, он запросто ходил к Бутурлиным: перейти Госпитальный переулок и через те ворота (если они уже были) оказаться в усадьбе: дорога, по которой я ходила миллион раз. Если бы совместить времена, то и встретились бы... Получается, надо прожить жизнь, чтобы, вообразив такое, испытать счастье.

Сейчас, очень к месту, вспомнила, что когда-то записала сон про Пушкина, где действительно видела его, и это было сердечное переживание — потому что хоть и сон, но

все реальнее, чем невозможные встречи в усадьбе Бутурлиных. В блокноте снов нашла: март 1970 года, с пояснением: повод к увиденному — к ночи кончила читать «Консуэло», где она сидит в часовне при умершем и рассуждает, что дух его все еще при нем и ему было бы неприятно видеть ее отращивание к телу. Каким уж образом в эту мизансцену мне, страдающей острой некрофобией, сон подложил Пушкина? Записано: *«Снится громадный низкий зал, слабый свет, ровными рядами надгробия. На каждом лежит сам умерший, торжественно убранный и прикрытый. На цоколе (в ногах) литыми буквами — имя каждого. Иду с кем-то вдоль бесконечного ряда этих надгробий. Тот, с кем я иду, убеждает меня смотреть на мертвых. Иначе оскорблю их дух. А среди них великие люди всех времен, но я не могу и боюсь. Наконец, вижу — на цоколе выложено: “Пушкин”. Вот, говорю, на Пушкина — могу. И смотрю. Прикрыт до самого подбородка, мне снизу и от ног не видно даже рта. Вижу только, что голова лежит очень спокойно, чуть набок, не в мертвецкой неподвижности, а будто во сне. Очень длинные ресницы, глаза тоже закрыты не натужно, а мягко. Спокойно и совсем без страха, с большим теплом его разглядываю. Дальше не помню, про это больше не было».* Лицо долго помнится, хотя и не было привычным лицом Пушкина, так как не видно было губ. Поворот головы помню и сейчас. И до сих пор помню.

Переписываю я свой сон и мурлычу романс, который наконец почти выучила: уминаю в памяти остатние слова — они топорщатся; вылавливаю мелодию — она уворачивается; но романс прекрасный: *«Я ехала домой, душа была полна...»* Вот только кроме первой строчки обычно не знаешь, про что

там и дальше как. Теперь выпеваю: «...*Неясным для самой, каким-то новым счастьем, Казалось мне, что все с таким участием, с такою ласкою смотрели на меня*». О! — поняла я, — вот как я смотрела на спящего в моем сне Пушкина!

Возвращаю себя снова к академической «Летописи». Она ставит точку в вековом споре о месте рождения Пушкина: он и родился в усадьбе Скворцовых, занимавшей дома 1-й и 3-й по Госпитальному переулку; дом 1 (по Малой Почтовой, д. 4) занимали сами Скворцовы, а отделенный от него садом д. 3, кирпично-деревянный, снимали в мае 1799-го Пушкины. Однако памятная доска, спешно поставленная к 80-летию поэта на одном из подозреваемых тогда домов по Немецкой (Бауманская) улице, впоследствии пару раз переезжавшая, застряла на здании школы против метро. Там же, не дожидаясь конца научных споров, водрузили на постамент маленький бюстик поэта, чтобы навсегда застолбить место национальной святыни. И то сказать, кто будет перетаскивать эти знаки в Госпитальный переулок (хотя всего-то минут десять ходьбы), от старого облика которого не осталось ничего — так, что даже доску не на что повесить.

В моей же памяти деревянные дома на той стороне еще стоят, в одном из них я даже видела жизнь, правда во сне. Этот сон записан у меня за 1981 год. Будто выхожу я из моих ворот на мостовую Госпитального и вижу напротив: весь фасад дома — как бы страница старого альбома, только внутри каждой фотографии идет, точно в черно-белом кино, жизнь давних обитателей дома. Ходят люди, бегают какой-то маленький ребенок. «Дядя Миша», — решила я, проснувшись: стена с живыми фотографиями была очень

похожа на лист из старинного бабушкиного альбома, где много детских фотографий ее сына, моего дяди Миши. А уже потом, когда пошли разговоры об истинном месте рождения Пушкина, я вспомнила про этот сон и догадалась — да Пушкин там бегал, кто ж еще! Дом во сне стоял прямо против ворот, то есть на том самом месте, где он родился...

А бабушкин альбом уехал с нами в Израиль и, кто бы мог подумать, очень там пригодился, когда перед свадьбой дочери нужно было в раввинате удостоверить ее еврейство, то есть мое, поскольку таковое передается от матери. Я готовилась к обыкновенным в таких случаях придирчивым вопросам, вроде: «Какие традиции соблюдались в семье?» или «Как проводили вечер Песаха?», затверживала на идиш название бабушкиной коврижки и успокаивала Асю, которая боялась, что я провалю дело. Вместо старого строгого раввина, которого я ожидала увидеть, за столом у окна сидел немного расплывшийся, молодой, голубоглазый и быстрый. Едва мы встали на пороге, он, взглянув на меня, московским говорком произнес: «Говоришь на идиш?» Я растерянно мотнула головой. «Как — вскричал он, — с твоим-то лицом?!» Так я сразу получила нужное подтверждение; обрадовалась и даже удивилась: в прошлой жизни я утешала себя тем, что не особенно похожа на еврейку — когда в метро, к примеру, ловила на себе внимательные взгляды, а в Израиле и не заметила, как легко стало носить лицо, и привычка проверять чужие взгляды быстро выветрилась. Однако раввин поманил нас к столу. Ася уселась позади меня на скамейку, а я осторожно опустила на стол тяжелый альбом — уже не в доказательство, а чтоб порадовать: массивные сафьяновые крышки с нежным тиснением, нижняя — на четырех

бронзовых ножках, широкая бронзовая же застежка и толстые картонные листы с золотым обрезом. Он стал их переворачивать и ахать: «Никогда такого не видел!» До коврижки дело не дошло, он выписал нужную нам бумагу, но тут я, выставив Асю за дверь, сама в него вцепилась (наконец есть к кому обратиться). Мне не терпелось спросить, думают ли они, что у нас есть связь с душами близких, и я рассказала парочку своих снов, виденных после ухода мамы, из которых выходило, что — есть. Вот один. По еврейской традиции, через год после смерти полагается прекратить траур, чтобы перестать держать душу ушедшего около себя и отпустить ее. В ту же ночь мне снится, что *в поисках мамы я захожу в автобус, но не вижу ее, он плотно забит людьми и вот-вот уедет, я боюсь потеряться и выскакиваю. Иду вдоль его бока, а стенки нет, просто сиденья и на каждом сидят по трое на коленях друг у друга. Вдруг вижу маму, она сидит у кого-то на коленях, и у нее тоже кто-то. Она в московской цигейковой шубе, и я вытягиваясь, чтобы дотянуться до нее, спрашиваю: «Тебе не жарко? Тебе не тесно?» Она отвечает: «Нет, все хорошо, но пора прощаться». В этот момент автобус трогается с места.*

Раввин смущенно отбивался, мол, сам еще не на том уровне, чтобы говорить на такие темы, и что с таким вопросом надо обратиться к кому-нибудь повыше; что в Торе, конечно, все написано, но не пришло время нам этого понять. Ну да, подумала я, нечего задавать такие вопросы, и пошла к Асе — поздравлять ее.

А где бишь мой рассказ несвязный? Я все бродила по левую сторону своего дома, теперь время пойти из двора направо. Обогнешь правое крыло, поднимешься к «зеленым

воротам» — никаких ворот нет, а название живет! Не с тех ли давних усадебных времен? А там — маленькая Лефортовская площадь с остановкой трамвая 50-й номер, остановка называется «Коровий брод». По левую сторону невысокий заборчик, к которому с площади сгребали снег. Получался длинный сугроб и я, с наслаждением проваливаясь, ходила по его гребню в валенках с натянутыми на них шароварами, а бабушка, двигаясь за мной понизу, напевала что-нибудь оперное или пересказывала сюжеты. Амнерис, Радамес... какие слова!

Название «Коровий брод» случайно застряло на трамвайной остановке от старого названия улицы, носившей его до 1917 года (теперь 2-я Бауманская), она спускается налево мимо Лефортовского дворца, где давно расположился Военно-исторический архив, мимо старого здания МВТУ к Яузе. Улица была обсажена кленами, и мы с Кларкой каждую осень собирали там разноцветные листья и засушивали их в газетах. Правую сторону улицы занимала Академия химзащиты, где работал папа.

С Лефортовской площади начинался мой путь в музыкальную школу: обойти небольшое каменное строение — это морг судебно-медицинской экспертизы, привычный, поэтому не пугает, войти в Старокирочный переулок (там по левой стороне стоял дом Анны Монс, сейчас заброшенный и недоступный), перейти в Аптекарский и дальше всё обычные тогда, а сейчас ласкающие слух названия: Доброслободская, Разгуляй — на этой площади стояло прекрасное старое здание, занятое МИСИ (инженерно-строительный институт, мимо которого меня удачно пронесла судьба: я собиралась туда поступать, даже анкету взяла), дальше налево Старая Басман-

ная, и наконец после получаса ходьбы сворачиваю направо (помнит правое плечо), во двор старинного дома, к школе. Это сейчас туда уже не свернуть — решетчатые железные ворота не пустят случайного прохожего, а в те времена проходы и дворы в Москве были открыты: ходи не хочу...

Тогда я вряд ли замечала красоту обветшалого дома, вряд ли вглядывалась в него, обреченно приближаясь к музыкалке. И уж подумать не могла, что придет время, и в красивом старинном зале, облокотясь на рояль, я буду рассказывать об одной коллекции декабристских портретов, считавшейся утерянной (я ее случайно обнаружила в недрах Библиотеки имени Ленина). Дом принадлежал на рубеже 1820-х годов Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу, отцу трех декабристов, в том числе повешенного Сергея и сосланного в Сибирь Матвея. Когда в 1986 году здесь открывали Музей декабристов и долго выбирали ему директора, лучшим, конечно, был бы Натан Яковлевич Эйдельман, создавший свой особый свободный и занимательный стиль исторического повествования. Но в Министерстве культуры противились: с его фамилией да в такой музей?! Тогда декабристы еще были несомненными героями русской истории. А директором стал сотрудник Исторического музея Джангир Исмаил-Заде, милый человек, хороший музейщик, и с фамилией, наверное, не такой негодной, как у Натана.

Окна музыкалки смотрели на Бабушкин переулок. Бабушкин переулок... Стоит шаг ступить по земле прошлого, как начинают наперебой проталкиваться воспоминания: кто первый? Когда отец в 1956-м добился реабилитации и вместе — права на улучшение жилья, мы со смотровым ордером ходили в Бабушкин переулок знакомиться с двух-

комнатной квартирой на первом этаже — мечта! Но вселился кто-то другой, в отличие от нас, наверное, ловкий, и вместо отдельной квартиры — снова коммуналка: дали две комнаты у метро «Университет», а в третьей, большой комнате, соседями оказались две сестры, обе тюремные надзирательницы, с матерью и грудным ребенком. Мы промучились в атмосфере их кипящей ненависти три года, пока не удалось поменять две комнаты на меньшей площади квартиру. Да и ладно бы, но адрес дома был «Большой Матросский переулок», во дворе его — въезд в тюрьму «Матросская тишина», а окна девятого этажа снова смотрели на Язу, но теперь прямо под ними из близкого (за тюрьмой) парка по набережной день и ночь со скрежетом шли трамваи. Для папы это было адом: после всего, что он перенес, его мучила бессонница, и двойные стекла не помогали. Случись тогда Бабушкин, он бы и пожил подольше.

Какие неожиданные связи соединяют далекие времена жизни! Сидим, рассматриваем мы с мужем подвижную гугловскую картинку Госпитального, вертим ее туда-сюда, я узнаю один столб (остался-таки!) от моих тех ворот, теперь он оштукатурен, покрашен и подпирает маленький тамбур, втиснутый между ним и стеной бывшей маминой фабрики — вместо остатка чугунной ограды, которая еще видна на фотографии 1971 года, где мы с маленькой племянницей стоим на пустом месте от сгоревшего Алкиного дома. И вдруг в кадр въезжает столбик автобусной остановки, а на щитке номер: 78. Ой! Ой-ой-ой! Какие воспоминания! Сколько совсем другой жизни прошло под этим номером, когда я и думать забыла, что 78-й посещает места моего детства! Это тот самый 78-й, которым мой будущий муж четы-

ре года ездил от метро «Сокольники» ко мне на Матросский, пока не решился просить моей руки. Да и то... мялся, мялся, пока наконец за него нужные слова не произнес мой папа: «Ты хочешь сказать...» — и мы через месяц, в мае 1964-го, поженились... Вот получается, до сих пор ходит 78-й от первого моего дома к последнему дому моей дозамужней жизни. Меня там давно нет, а он все ходит...

Вырываюсь из алчных объятий памяти обратно к своим восьми годам, когда меня отдали в первый класс музыкальной школы; сначала это была радостная, а потом темная сторона моей детской жизни. Радостная потому, что в первом классе все шло прекрасно: на отчетном концерте школы в Малом зале консерватории мы четверо исполняли на двух роялях, сомкнутых боком к залу, пьесу «Комарик», я сидела первой к залу, видно, играла главную партию. Но в середине второго класса музыкालки папу забрали — забрали не из дома, сняли с поезда в командировке. К нам пришли с обыском, перевернули всю комнату родителей, и прежде чем ее опечатали, мама попросила переместить в другую комнату пианино — дети занимаются музыкой! И бывает же, они сами его перекатили. По словам мамы и брата, они вели себя «прилично». Полгода второго класса на музыку я не ходила, а осенью мама отдала меня сразу в третий. С деньгами было плохо, хлеб мама выбирала, что подешевле, но на музыку наскребала. Отдавать в третий класс было ошибкой. Пропущенное время я наверстать не смогла, учительница, ее звали Таисья Васильевна Ключарева, даже стучала меня по пальцам указкой, короче, я превратилась в тупицу, пугающуюся диктанта по сольфеджио и обмирающую на экзамене, когда

сама слышала, как тускло играю. Единственной отрадой был хор — в том же Малом зале мы, вторые голоса, подхватывали на низах в песне половецких девушек: «Улетай на крыльях ветра ты в край родной, родная песня наша...» Пели даже очень быстрою «Попутную песню» Глинки: «Веселится и ликует весь народ...» (сейчас, слышу, вернули, в соответствии с веяниями, слова Кукольника: «Веселится православный весь народ...»). Ну и колыбельную Блантера и Исаковского (1949), сталинских лауреатов, пели, конечно: «Даст тебе силу, дорогу укажет / Сталин своею рукой. / Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, / спи, мой звоночек родной». Странно, что она снова еще не востребована.

После четвертого класса решено было музыку бросить, и мрак потихоньку рассеялся. Я постоянно что-то напевала, а бабушка приговаривала: «Тебе надо петь в Большом театре!» (Как часто, минуя целую жизнь, завершается тема: мы с мужем позанимались недавно в кружке звуковой гимнастики, кричали там, кривлялись, рычали, но временами и пели, и вдруг ведущая навела на меня ухо: «А у вас певческий голос!», и я переслала ее слова бабушке, в неведомые сферы.) В давние времена они с дедом были любителями оперы; при мне бабушка подыгрывала себе или просто напевала из «Аиды», «Прекрасной Елены» (чаще всего: «Нет, нет, ему сердце я не отдам...» — а я думала: это она о своем? от мамы я знала, что она убежала от мужа с моим дедом) или «Марицы» — помню обложку в стиле модерн: прелестная Марица с осиной талией. Последнее, что она играла, разминая застывшие пальцы («Что это случилось с моими руками?»), была «Застольная песня» Бетховена. Долго еще во мне звучало: «Бездельник, кто с нами не пьет»... После бабушкиной смерти кипу ее нот снес-

ли в букинистический. А брат дико злился: я непроизвольно подпевала, когда он играл на пианино.

Первое потрясение от музыки случилось со мной в пятнадцать лет при подслушивании (!) скрипичного концерта Мендельсона — брат слушал радио, а я, прячась в закутке при выходе из нашей комнаты в коридор, беззвучно, чтобы ему не мешать, сотрясалась в рыданиях и промокала лицо полотенцем, висевшим на двери (там висели все наши полотенца — квартира была коммунальная).

Брат закончил все семь музыкальных классов, обожал своего учителя, необыкновенного человека Варфоломея Александровича Вахромеева, директора школы, автора учебников по музыке. Имя Варфоломей все время звучало в доме. Брат рассказывает, что мама ходила к нему и, видимо, описала нашу ситуацию — он снизил плату за обучение. Брат не проявлял таланта, и тем дороже для него воспоминание о том, как после удачно отыгранного выпускного экзамена В. А. поцеловал ему руку. Брат еще год ходил к нему домой заниматься и помнит серьезные разговоры о музыке, например что Шаляпин, не обладая особо сильным голосом, умел создавать впечатление мощного форте, подбираясь к нему глиссандо от тончайшего пианиссимо.

У Варфоломея брат видел и нечто необычное для того времени: крестик на шее и икону на стене. Впоследствии В. А. принял сан и достиг высокого положения в церковной иерархии.

Чтобы закончить музыкальную тему, скажу, что на крышке пианино мы с братом делали уроки до окончания школы. И получили свои золотые медали.

Глава 2. ШКОЛА. ДВОР

24 апреля 2013-го. Разговор с Кларой. Снова говорили про двор, про игры. Первая школа — № 356, последняя — № 357. В первой учительницей литературы была Лилия Кузьминична Горюнова, высокая красавица; Кларка говорит, что когда она водила нас в Третьяковку, за ней шли мужчины, и что она курила, и что была грубовата. А я помню другое: как мягко она посмеивается надо мной, когда у доски в пятом классе я пересказываю любовный эпизод из «Песни о купце Калашникове», ловко обходя скользкие, как мне кажется, моменты. И больше ведь не помню ничего, только с удовольствием разглядываю ее на классной фотографии — стать, лицо и волнообразный зачес волос надо лбом, как у американской киноактрисы! Да вот нашла свой табель за пятый класс: она умудрилась в году поставить мне по литературе пять с плюсом!

Жаль, что Кларка не вспомнила нашу учительницу истории в пятом-шестом классе Дору Петровну Плоткину. Этим невеселым для начала 50-х годов анкетным данным соответствовало некрасивое лицо с туго затянутыми волосами и крупным насморочным носом, который она всегда терла платком, будто после слез. А вот глаза с прямыми ресницами не были темными. (Неужели я могу это помнить? И как она стоит, прислонившись к моей парте и благожелательно смотрит на меня сверху?) Знания по истории европейского Средневековья она вложила в меня так прочно, что через десятилетия они легко всплыли при внезапной надобности, когда в Амстердаме, в самом начале поездки по Европе, выяснилось, что наш спутник не приготовил обещанного

точного маршрута. Он сунул мне карту и бормотнул: «Решай, куда ехать». Я быстро сказала: «Утрехт, Гент, Дельфт», вспомнив города Голландии, где происходили события Нидерландской революции. И потом оказалось, что я знаю, какие именно пять католических соборов Европы считаются величайшими. Всё Дора Петровна, пятый или шестой класс. Поход с ней в Музей изобразительных искусств — почти сразу после выноса из него выставки подарков Сталину (теперь страшно и гадко читать, какой урон выставка нанесла музею и как выбрасывали вороха прочервивевших сладостей, до того годами неприкасаемых) — был моим первым музейным впечатлением, памятным на всю жизнь. Она еще старалась учить нас приличным манерам! В табеле, который вдруг нашелся, она расписывается как классный руководитель.

А сегодня я догадалась поискать Дору Петровну в интернете и сразу получила карту с указанием дома в Москве, где живут ее родственники, и их телефон. Мне ответила внучка: «Как жаль, что вы позвонили поздно! Бабушка была бы рада поговорить с вами, но она умерла два года назад, восьмидесяти трех лет», и потом долго рассказывала мне все, что помнила, не удивляясь вопросам о мелочах: глаза у бабушки были серо-голубые, ресницы — да, короткие и прямые, и волосы, да, совсем прямые, и очень большой нос, и в целом очень еврейское лицо; да, дома тоже следила за хорошими манерами у детей. Потом Дора Петровна преподавала в Полиграфическом институте, как выразилась внучка, «максизм-ленинизм» (увы!); и уж совсем огорчила меня ее внучка, сказав, что она прожила нелегкую жизнь с совершенно слепым мужем — он рано потерял зрение.

Какие странные совпадения являет жизнь! Нинель Ильичну, мою учительницу литературы, в последние годы жизни постигла слепота. (Узнаю сейчас из интернета: годы жизни 1929—1993; настоящее отчество Иудовна; она автор рассказов о своем несчастном детдомовском детстве, на уроках давала запрещенных Достоевского, Есенина, Цветаеву, — я такого не помню, видимо, позднее меня. Она преподавала в разных школах до 70-х.) Так вот какой она была! Все это так согласуется с ее незабываемым жестом у стеклянной двери на лестницу! Да... А теперь и я борюсь за свое зрение и понимаю их обеих и сочувствую им.

Историка нашего в старших классах звали Тазрет Михайлович, фамилию мы с Кларой не вспомнили (возможно, Басиев, упоминаемый в интернете), она только уверенно сказала, что он был осетин, и обе мы сошлись на том, что очень хороший учитель. Говорил нам такие вещи, которые тогда не положено было говорить; еще был строг и гонял неопрятных девочек (с перекрученными чулками или лохматых).

Наверное, он и впрямь хорошо преподавал историю — пошла же я на исторический факультет. Жаль, что я помню только лишь один эпизод из общения с ним, но эпизод пророческий, если можно так определить его связь с будущими моими занятиями. Это был девятый класс, мы проходили историю России XIX века. Дома уроки я делала редко; помню утреннее лихорадочное движение: схватить портфель, который стоит у ножки пианино, вытряхнуть из него вчерашнее и положить сегодняшнее. Зато на уроках и на переменах я выхватывала главное. На этот раз я схватила на переменке кого-то, только что вышедшего с урока истории: «Что Тазрет спрашивал?» Оказывается, он поднял каждого,

требуя определить одной фразой правительственную политику 1880-х годов, но не добился ответа. «А что надо было сказать?» — «В России царила реакция!» Ну, я так и сказала, когда он меня поднял. «Вот, — простер руку Тазрет, — вот как надо отвечать!» Он и я были страшно рады, и я всегда помню этот момент как большую жизненную удачу.

А на четвертом курсе университета мой профессор Петр Андреевич Зайончковский, который первым из советских историков взялся за изучение внутренней политики самодержавия, предложил нам, слушателям его семинара, темы для курсовых, связанные с «реакцией», как принято называть период царствования Александра III, отшатнувшегося от Великих реформ своего отца после его убийства 1 марта 1881 года. И я, вспоминая тот счастливый случай с Тазретом, начала работать над курсовой, потом дипломной работой, а спустя годы — и над диссертацией: «Среднее образование в системе контрреформ 1880-х годов». Жаль, что по юношеской беспечности связи со своим учителем я не сохранила, а то вместе посмеялись бы над причудами судьбы. Кстати, «реакция», на которой настаивал Тазрет, теперь нам кажется не такой уж и страшной. Да и прилипшим к тем 80-м годам словечком «мрачные» их называть неловко, зная об ужасах «светлого будущего» России. Судьба же, не отставая, еще раз вывела меня на эту когда-то выбранную тему, только уже очень нескоро — в моем тогда таком далеком будущем.

А в седьмом классе я до обожания любила географичку Александру Васильевну, голубоглазую, худощавую, так что пиджак не облегал, а оттопыривался у нее на спине, с длин-

ной указкой, которой она водила по карте. Чем она меня зацепила? Может, голосом? Видно, росло и искало применения юношеское эротическое напряжение. Помню, как гладила гладкий темный камень с синими искрами на цоколе школьного здания: в нем было что-то от географии, от геологии, от Александры Васильевны. Это была вторая наша с Кларкой школа, на Большой Почтовой, от Госпитального в двух остановках трамвая, но мы экономили, говорит Кларка, ходили пешком, а потом покупали вкуснейшие булочки, сейчас таких нет. Ничего этого не помню, но вспоминаю, как заходила за ней в последнюю комнату в длинном коридоре, где она жила с мамой и отчимом: ждала, пока она допьет из блюдечка кипяток и доест кусок белого хлеба с маслом, посыпанный сахаром, — всегда одинаковый завтрак. Кипяток — это было странно: у нас пили чай. Хотя папа вечно издевался: «Это не чай, это моча святого Маврикия!» — такой он был слабенький.

Кстати, тогда условия быта в Кларкином коридоре меня не занимали, теперь же очень хочется расспросить о них Кларку. В таких случаях она отвечает: «Сейчас я тебе все расскажу», и дальше надо только входить в подробности. Всего было десять комнат, со стороны двора только три, потому что при входе в коридор первой слева была большая кухня, а за их последней, третьей комнатой, туалет и умывальники. На правую сторону коридора выходили остальные семь комнат. В кухне стояли три плиты по четыре конфорки, по одной на комнату и две для кипячения белья и пр. Зато у каждой хозяйки был свой столик. Белье сушили там же. В туалете было три кабинки, а в ванной — умывальники, мыться ходили в баню, пока не убрали там кладовку и не

поставили ванну с газовой горелкой. Тогда сделали жесткое расписание для пользования ванной, а в острых случаях надо было договариваться с очередниками. Потом поставили телефон, как раз рядом с их дверью, и им приходилось всех подзывать. В целом, вроде бы ничего страшного, по сравнению с Высоцким (на двадцать восемь комнаток всего одна уборная), но все равно впечатление производит.

Восьмой класс мы начали в новой школе, построенной рядом с домом (за правым его крылом, мы ходили туда через широкую дыру в заборе), нас тогда впервые соединили с мальчиками, и меня посадили с одним... «Не помнишь, — спрашиваю Кларку — как его звали?» Она помнит: «Да их всего было восемь: Женька Миронов, такой мешковатый, сутулый, потом Марков, самый умный...» Я прерываю: «Женька, конечно он, мы почти и не разговаривали с ним, но помнишь, как душил меня ворот, так что я оттягивала его: мы с тобой стояли на ступеньках перед моим подъездом и говорили о нем?» Кларка разочарованно: «Неужели ты была влюблена в него?» Да наверное нет, просто от его близкого соседства росло то, отчего в кино при намеке на поцелуй (а на большее наше кино не раскошелывалось) солнечное сплетение пробивал болезненный сладкий разряд.

Впрочем, глупости, летом после седьмого класса на даче у меня уже случилась настоящая первая любовь, мы даже целовались раза три крепко сжатыми губами, я и не поняла, что в этом хорошего. Но касания, когда он вез меня на раме велосипеда или когда мы сидели в кино на «Мы с вами где-то встречались», — эти касания, как у Цветаевой («едва соприкоснувшись рукавами»), от них закипала кровь.

В другом разговоре мы с Кларой вспоминали наш двор. Двор! Предел мечтаний! Это вам не сидение перед экраном — счастье нынешних детишек! Это компания девчонок (мальчишек не брали) — и салочки, и прыгалки, и прятки, да еще мячик (кто его выносит, тому некое предпочтение). А бабушка, нависая над моей тарелкой с супом (плавают рис, картошка, еще какие-то противные остатки), спокойно угрожает: «Не доешь супа — во двор не пойдешь». И Кларка уже зовет меня под окном. А какое горе, если с ней размолвка! Папа тогда смеется: «В доме трагедия — Наташка поссорилась с Кларкой!»

...Вспомнили имена подружек, и кто где жил, и как у Ирки Проценко в их переполненной семье и соседями комнате, плюс мы со двора, смотрели по телевизору «Парень из нашего города», — какое было событие!

Потом перебирали моих соседей по подъезду.

Кларка:

— А помнишь того белобрысого мальчика, что жил прямо над вами?

— Нет, не помню.

— И однажды — то ли его кто-то подговорил, то ли сам — открыл окно между вашим третьим и вторым этажом и прыгнул вниз?

— Нет, не помню, — огорчилась я, — нет!

И вдруг... Вот оно, это ощущение: так ребенок дает матери первый знак, что живет, — будто маленький пузырек тихо лопається где-то внутри.

— Помню, помню! — в восторге закричала я. — Он упал на козырек над подъездом с таким страшным смачным звуком, а когда летел, на нем развевалось пальтишко!

— Да, точно, а мы с тобой испугались и отбежали подальше...

Вспомнили игры, начиная с первых девчоночьих, назывались «секретики». Это делается так: каждая вырывает ямку у забора или у стены, где никто не ходит и рыхлая земля, кладет туда разные свои драгоценности вроде блестящих фантиков, осколочков цветного стекла или бусинок, сверху закрывает оконцем — куском стекла — и засыпает землей. А потом по очереди их отыскивают, расчищают оконце и гордятся, у кого красивее. Для копания земли со мной всегда была алюминиевая ложка с обломанным черенком, и я долго горевала, когда она потерялась; думаю, горевала сильнее, чем горевала в семь лет по тому тонкому серебряному браслету, который от взмаха руки слетел в песок на Рижском взморье и так и не нашелся, как всей семьей ни рылись (а он был бабушкин или мамин, еще из их ташкентской жизни).

А двор наш тогда еще заканчивался резким скатом — похоже, это был берег Бутурлинского пруда. В начале войны здесь рыли траншеи, потом на взрытой рыхлой почве под скатом выросли тополя, там хорошо было устраивать секретки.

Скат долго оставался крутым, зимой на нем заливали ледяную дорожку, широкую и довольно длинную. Кларка сломала на ней ногу, а меня сильно ударил по лодыжке железным подносом мальчишка, летевший в нем по льду, так что нога у меня и у взрослой грозно побаливала — а вдруг опухоль? От страха мне приснилось однажды, что она покрылась махровой черной плесенью.

И другие игры с землей. Лунки: выкапываем рядок ямок и по очереди закатываем в них мячик. Ножички: на мягкой земле чертится круг и делится на сектора по числу участников. Каждый встает на свой клочок земли, в очередь бросает перочинный ножик в землю соседа — ножик должен обязательно воткнуться — и прирезает себе клочок его земли по линии, как встал нож. Промахнулся — и ножик не воткнулся в землю — передаешь его дальше по кругу. Вылетают из игры те, у кого не остается земли, чтобы постоять хотя бы на одной ноге.

Ну и конечно, любимая игра, «лягушки» — кидаешь мячик в стену, он отскакивает, и ты прыгаешь через него враскорячку, стараясь не зацепить подолом. Он стучается о землю, и следующий в очереди его ловит; кто, перепрыгивая, задел или свалил мяч, «вылетает» из игры и бежит в конец очереди, а она движется быстро, и надо быть точной, ловкой и шустрой.

Тут меня прерывает очередная ожившая сценка: мы играем в лягушки под Кларкиным окном на первом этаже, мяч почему-то летит в бок и касается соседнего окна, а там живет «генеральша», так ее все называют; покойный муж взял ее из «балетных», и правда, она всегда ходит очень прямо, но вместо ее лица всплывает мордочка собачки, которую она всегда носила на руках (чего только не помнит Кларка — например, что генеральша умерла от заражения крови: сама резала себе мозоль). Так вот, она выскакивает из моего подъезда, видит меня, застывшую с мячом, и произносит: «Конечно, чего еще ожидать от ребенка, у которого отец в тюрьме!» Тут главное для меня, что других таких высказываний я не помню, видно их и не было за три с по-

ловиной года папиного отсутствия, хотя весь двор знал, что с нами происходит.

Да, еще прыгали мы в «классики». И сейчас прыгают, судя по исчерканным, правда не часто, тротуарам: мелом рисуется крупный прямоугольник, двумя линиями вдоль и тремя поперек делится на квадраты, по ним, прыгая на одной ноге и не наступая на черту, ты гонишь, к примеру, баночку из-под гуталина; ногу менять нельзя, баночка тоже не должна застыть на черте — попробуй-ка так доскакать до последнего квадрата!

Еще прыгали через длинную веревку, когда двое крутят, а один в середине прыгает до упаду; но у каждой была и своя родная прыгалка, ее крутили между делом или соревнуясь, кто быстрее и дольше.

За правым крылом дома была пустая земля, там играли большой группой в «штандер». Игра известная: один кидает мяч как можно выше, остальные разбегаются подальше, пока другой не поймает мяч и не крикнет: «Штандер!» Дальше тот, в кого он попадет мячом, идет водить.

А игра «Замри!» не требовала особого места, нужно было только рассчитаться, чтоб определить, кто водит; считалок помню три: «На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты такой...», «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить...», «Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар, аты-баты, что купили, аты-баты, самовар». Можно было по-всякому растягивать слова, чтобы последний шлепок в грудь пришелся не на тебя. Кому выпало водить, считал, скажем, до десяти, остальные, быстренько недалеко отбежав, на команду «Замри!» замира-

ли в любой причудливой позе, а водивший должен был их рассмешить или, не прикасаясь, другим способом заставить шевельнуться.

Дом и двор на Госпитальном долго оживали в моих снах; их сюжеты повторялись с небольшими вариациями. Вот одна из ретроспективных записей 1970 года:

«Раз за разом снится желание пробиться в прошлое, в детство, в свой двор и старую квартиру и застать там всех, в том числе и себя... Но каждый раз не удается, все время знаю, что невозможно. Вижу себя под Кларкиным окном (первый этаж, видно с земли, если не закрыто занавесками) и первые мгновения не помню, что Кларка уже уехала, и напрягаю горло, чтобы ее крикнуть. Знаю, как она сейчас обрадуется, и волнуюсь. А потом вижу за окном совсем чужих людей и с отвращением вспоминаю, что прекрасно знаю, что Кларка там не живет. В другом варианте — захожу в их коридор, но пока дохожу до ее комнаты, все равно вспоминаю.

И только однажды, пока стояла под Кларкиным окном, бабушка из нашего окна на третьем этаже меня позвала. Удалось себя обмануть и успеть двенадцатилетней добежать до двери своей квартиры, а дальше — всё! — войти и пожить не удалось».

В том же 70-м году записываю свежий сон, и хотя взрослые горести, в нем просвечивающие, казалось бы, должны были вытеснить двор как место действия, снова обнаруживаю себя там. На этот раз я пытаюсь заглянуть в окно Ксюши Ериновой на первом этаже... На самом деле окна этого этажа в нашем доме были выше моих глаз. Ксюшка была краси-

вая, с яркими черными глазами девочка, знакомая мне еще по детскому саду, а жили они втроем в девятиметровой комнате: Ксюша, ее мама Галина Скоробогатова, актриса Малого театра, и бабушка, бывшая жена известного ленинградского актера К. В. Скоробогатова. Все это, включая главные роли Скоробогатова в кино, Клара в очередной телефонной беседе выкладывает мне сразу, никакого интернета не надо; она помнит, что отец Ксюши погиб на войне, и мне только остается (потому что хочется) узнать когда. Нахожу его в списке актеров Малого: ушел на фронт в 1941-м (год рождения Ксюши), погиб в августе 1944-го. Бабушка ее была величественная дама, мы ее робели, когда заходили к ним, а мама ее шла через двор к своему подъезду всегда тихая и усталая. И как только Кларка сразу сказала ее имя? Галя! Для кого у нас во дворе она была Галя?

Но и это не все (никак не доберусь я до своего сна!), потому что Кларка продолжает плести невод нашей общей памяти. Оказывается, у старухи Скоробогатовой была еще одна дочь, Лариса («Как ты помнишь?» — «Помню!»), замужем за военным композитором и дирижером Руновым (я проверяю: Виктор Сергеевич, автор самых известных маршей). «Как, — опять кричу я, — у меня в детском саду была подружка, тоже Наташка, и я давно пытаюсь вспомнить ее фамилию, Румынова, что ли? Так вот же, Рунова!» — «Ну да, она была Ксюшкина двоюродная сестра, хорошая девочка» (Кларкины оценки всегда совпадают с моими). Они жили в Первом общежитии Академии. (Так! Теперь я вспоминаю, что наш дом тоже называли общежитием, только Четвертым.) А Наташка Рунова была первой подружкой, чье существование рядом делало жизнь сносной. При этом мы ино-

гда ссорились, и я давно пытаюсь вспомнить, которая из нас тогда шипела: «А я все расскажу воспитательнице!» Интересно все-таки, кто был такой противный, неужели, я? или она? или поочередно?

А хорошее это дело — воспоминания, когда разрозненная мозаика собирается в рисунок: теперь, так запоздало, но я еще успеваю пожалеть и Ксюшку, не увидевшую отца, и молодую актрису Галю, потерявшую мужа (на портрете у них на этажерке он был красавец!), да и бабушку Скоробогатову (и вторая ее дочь, Лариса, к тому времени жила одна с двумя дочерьми, без знаменитого мужа, — ну, Кларка!).

Так вот, сон про Ксюшкино окно. *Не дотянувшись до него, но непременно желая знать, здесь ли еще Ксюшка, я захожу в их подъезд, встаю на цыпочки и приподнимаю стену их комнаты, прилегающей к лестнице, на уровень глаз. Вижу плотно сложенное, как в гардеробе, белье. Может их, а может — нет. Выхожу во двор: как в читальне, сидят люди и среди них Ксюшка. Протискиваюсь к ней и с неловкостью здороваюсь — еще в январе должна была позвонить ей, узнать, кого родила. «Ну как ты?» — «Плохо. Родила мальчика, а через день сказали, что он умер». Она рассказывает, а я вижу: его, мертвого, завернули в грязную простынку, заложили в две досочки и перевязали. В таком виде их складывают в морге роддома. А скоро оказалось, что он еще живой, — он стал слегка биться, как живая рыба на столе. Так прыгал он долгих три дня и на третий окончательно умер. И ничего нельзя было сделать (оказывается, не положено, раз уж в морге).*

Тут я делаю маленький антракт. На днях мы поехали в институт оптики вернуть ту самую клавиатуру с больши-

ми буквами, полученную на три месяца, а потом собирались купить мне такую же в специальном магазине, несмотря на ее непонятно почему дикую цену, в 15 раз большую, чем стоит обычная компьютерная клавиатура. Секретарь, милая девушка Мири, с которой мы знакомы уже много лет, забирает у меня из рук любимый предмет (он теперь голый: муж снял русские буквы, которые наклеил на клавиши). Я благодарю, собираюсь уходить, но что-то (верней кто-то, кто в этой стране всегда на страже), подсказывает мне, что надо спросить, не тут ли Рахели, соцработник, которая первой встречает и расспрашивает невеселых посетителей этого заведения, чтоб определить, чем им помочь. Есть, кстати, и психолог, Мира, она для отчаивающихся, ведь некоторые, говорит она, ложатся лицом к стене и больше не хотят вставать. «А ты, — утешала она меня такими сравнениями, — ты говори себе: я ПРОСТО плохо вижу!» И я зацепилась за эту фразу и приходила ее благодарить: она предупредила, что примет меня, только если я снова научусь улыбаться.

Я не успела уйти — Рахели появилась в коридоре. Узнав, что благодаря ее клавиатуре я вовсе работаю, она спросила: «Зачем же отдаешь? Оставь себе! — И добавила: — Другому бы не отдала».

То мне кажется, что пора выйти из детства, то начинают теревить совсем ранние воспоминания, да я и сама хочу вернуться к ним. Только вот задержусь на лестничном пролете со второго этажа на наш третий, по которому я иду, лет семи-восьми, и поднимаю глаза навстречу взгляду человека, сидящего на подоконнике (из этого окна раньше или потом вылетел мальчик). Ау! тот голубоглазый раввин из

будущего, который спросил, говорю ли я на идиш! А этот, кто сидит на подоконнике и видит мои глаза, не спрашивая, тихим голосом обращается ко мне на языке, из которого я знаю только два-три папиных словечка. Увидев, что я его не понимаю, он замолкает и дает мне пройти. Не могу объяснить, каким образом я тогда поняла, что этот язык имеет ко мне прямое отношение, что он связывает меня с человеком на подоконнике и что я не такая, как другие во дворе. Может, все сказала его доверительная интонация? С тех пор я знала, что я еврейка, и помню этот момент как откровение.

Но вот опять память своевольничает! Я ведь хотела только на минуту задержаться на лестнице, а сейчас подумала, уж не искал ли тот человек в каком-то своем бедствии евреев, как папа, когда его ссадили с парохода к месту ссылки, и он зашел в лавчонку на пристани.

— Где тут найти евреев?

— А зачем вам нужны евреи? — ответила продавщица.

Папе нужны были пять рублей, чтобы дать домой телеграмму. Продавщицу звали Рахиль. А в ушах уже звучит вопль Рахили, когда через год после нашего переезда в Израиль я нашла ее, и она по телефону не сразу поняла, кто я, а закричала, только услышав папино имя.

Но тут ко мне уже взывает сорванным голосом, как вчера грязно-белый котенок из куста, серая шелковая трикотажная кофточка в легкую клетку с рукавом «японка», которую мама купила себе в лавочке у Рахили, а потом я носила ее в университете и долго после, пока не растрепалась ткань вокруг молнии. «Хватит, — кричит мне муж, — остановись!» — это я пожаловалась ему, что хриплый голодный котенок, а таких тут много, в очередной раз на-

помнил мне детей, умирающих от голода на тротуарах Варшавского гетто.

Эк меня занесло! Кто-то сказал, что время круглое, а мы в его центре и в каждый момент можем соотнестись с любой прожитой в нем точкой, и в далеком она прошлом или вчера — неважно, радиус один. А я — точка их соединения, и это мой случай.

Глава 3. ПРОГУЛКА С КЛАРКОЙ

Я поставила точку, и мы поехали в Москву. С Кларкой мы не виделись лет семь, мы обнялись и обе, думаю, огорчились, как себе в зеркале, постаревшему лицу подруги; я понудила их с Костей расцеловаться, мы вышли из метро и пошли налево по Бауманской, бывшей Басманной: я хотела посмотреть на бюст Пушкина перед школой, захватившей право обозначать место его рождения, хотела проверить, правильно ли мне всегда казалось, что он непропорционально маленький относительно своего постамента.

Земля перед школой была перекопана, пьедестал перенесен подальше от нее, видимо, к будущему скверику, и казался он теперь хрупким и тесным для новой скульптуры: тяжелой крупной черной головы с вдохновенно откинутыми кудрями. Какой Пушкин?! да это вылитый Царнаев, бостонский террорист, красавчик с целеустремленным лицом, растиражированный интернетом и гламурными изданиями.

Поохали и пошли вниз по Ладожской к Госпитальному, разглядывая поновленные купеческие дома по левой стороне улицы, за которыми раньше был Немецкий рынок, и перебирая имена соучениц из первой нашей шестилетней школы. Как раз дошли до скверика, — на этом месте она и стояла, напротив Волховского переулка. Еще несколько шагов, и переходим Малую Почтовую, к началу Госпитального, тут была усадьба Скворцова. Чудес нет: ни бульжника, ни трамвайных рельсов, на углу, слегка задвинутое и прикрытое деревьями, чернеет странное здание фабрики-кухни, а на месте дома, где родился Пушкин и в нашем детстве еще были деревянные мещанские дома, наискосок

стоит огромный двухэтажный бетонный сарай с разбросанными вокруг обрезками труб. Моего века хватило: пушкинским духом здесь больше не пахнет, памятную доску вешать не на что, и пусть там, у школы, пребывает Царнаев.

От остановки 78-го автобуса остался шест с пустой железной рамкой. Вынули только табличку с номером, а шест не озаботились даже отодвинуть в сторонку, и он так и стоит на углу, караулит память. Один столб от моих ворот на Госпитальный еще можно разглядеть: он поглощен тамбуром какого-то бутика, ютящегося в доме бывшей маминой фабрики, верхушка еще проглядывает сквозь штукатурку; другого столба нет. Пустует и место дома, где жила моя подруга Полякова (проклято, что ли?).

Мертвый асфальт сменил земляную с камешками дорожку к дому; топография и рельеф скорчились и стерлись, почти не узнать, если б глаза сразу не ухватили крыло нашего дома и справа огрызок дома Бутурлиных. Наш шестиэтажный выглядит нежилым: пустые, грязные и даже открытые окна. Подойти отсюда к обоим домам нельзя: на них навалился серый бетонный забор. Но дальше в заборе есть проход, через него попадаем в свой двор. Каменные протоптанные ступени подъезда те же, но на месте козырька, на который упал тот мальчик, — тяжелая задница лифта. Мои и Кларкины двери закрыты наглухо; и как же низко над землей Кларкино окно! а мы ведь под него кидали мяч, играя в лягушки.

На те же четыре газона делится двор между левым и правым крылом, только ограды посолиднели. Впрочем, и когда ограда была легкомысленной и с прорехами, на газоны не полагалось заходить, хотя только хилая трава там росла да

вдоль ограды кустики акации: из ее стручков, если съесть горошки, получались свистелки, а растертый в пальцах лепесток навсегда с тех пор пахнет детством; смутный вопрос: «Почему на газон-то нельзя?» — таял под властью привычки. Вместо акаций теперь немолодые деревья.

Я на всякий случай уже подергала все двери (хоть в подъезде постоять!..), и мы втроем озирали признаки умирания дома, как из среднего подъезда вышел беленький мальчик лет трех с мамой. Так и оказалось, трех: я всегда проверяю, не разучилась ли понимать возраст малышей. Время идет, глядишь, а это уже другой ребенок, другой человек. Только когда это случится, я не уловлю перемены сразу. Так же, как не улавливала момента, когда вела ребенка за руку в последний раз. Неуследим ход возраста, и верстовых столбов не замечаешь. Я и за собой прислеживала: «Мам, я еще ребенок или уже взрослая?» — «Когда перестанешь задавать этот вопрос, вот тогда и...» Пока они не сели в машину, я все узнала: мальчика зовут Рома, в двух подъездах еще живут те, кто приватизировал свои квартиры, а что будет с домом дальше, неизвестно никому, но с водой уже перебои. Мы еще постояли в середине двора, глядя в сторону Яузы, но река и парк оказались закрытыми длинным скучным зданием (муж говорит: лабораторный корпус), а от того ската, где съезжали по ледяной дорожке и росли тополя, ничего не осталось, все заглажено, будто никогда не было усадебного пруда.

Со двора пошли к школе, вежливо поглядели на низкие колонны, подпирающие фасад, на парадную лестницу, на которой наш класс и учителя запечатлены в день выпуска, — чувство одно: так много времени утекло, что ничего и не чувствуешь. Зато простая радость: со школьного двора

виден клочок парка за Яузой. Парк так же близко, как виделся из окна третьего этажа в детстве.

От школы пошли назад к дому Бутурлина и обрадовались, что на нем охранный доска с упоминанием Пушкина и отдельно табличка с краткой историей дома. Сам же дом в плачевном состоянии: под крышей трещина в середине фасада, на нем следы грубых перестроек, крыльцо с железными перилами и полуразрушенным навесом грубо врезано в стену, а на стороне, обращенной к нашему дому, окна цокольного этажа, глубоко утопленные под полукруглыми арками, заросли кустарником.

Обернувшись, вижу свое пустое окно, заколоченный вход в котельную, заднюю стену нашего умирающего дома, базедовы выпуклости оконных переплетов... Да тут и всегда было тоскливо. «Мы никогда сюда не заходили», — вторит мне Клара. И еще раз поражает меня, когда, поднявшись к Лефортовской площади, проходим мимо заборчика, к которому сгребали снег: «Здесь мы любили ходить по сугробам» — будто детская память разделена между нами пополам, как у близнецов.

Зато Лефортовский дворец выглядит прочным, мы поглядели через глубокую въездную арку во двор, и я, сколько ни силилась, не вспомнила, с какой целью ходила заниматься в Военно-исторический архив: наверное, когда надо было атрибутировать портрет неизвестного, приобретенный Отделом рукописей ГБЛ: он оказался фельдмаршалом Румянцевым-Задунайским. Кленов у стен архива уже не было, только несколько деревьев росли на противоположной стороне, у здания бывшей Академии химзащиты, но мы с Кларой там листьев не собирали.

Посмотрели на ухоженный двор и бывшие здания МВТУ, удивились двум унылым львам с обеих сторон над проходной, подаренным, судя по табличке, каким-то современным доброхотом. Табличка читается хорошо, но львы вознесены так высоко, что снизу видны только их постаменты.

Клару удалось затянуть в кафе на углу Лефортовской площади и Старокирочного (надо же, хорошее), ей казалось это мотовством и она обошлась без супа, а я уговаривала ее, что мы проматываем московскую пенсию и что угостить ее — это большое для нас удовольствие. «Ты давно была в кафе?» Оказалось — очень давно и всего один раз. «А чего ты хочешь? Все время было трудно, Горбачев-то развалил страну, его американцы подкупили». Что мне было сказать? Не объяснять же. Значит, здесь так.

Потом мы дошли все-таки до моста через Яузу, шли по Госпитальному, который и переулком-то не назовешь — так, транспортная артерия, переходящая в улицу с тем же названием. Прорвались через коросту машин, покрывающую обе набережные и мост; не до воспоминаний, я и не посмотрела на покрытие моста — остались ли плиты. А встряхнулась только против «Гошпитали» — до чего она красива! но теперь белая с желтым, а ступени, похоже, те же. Потом долго сидели в Головинском парке, безлюдном в будни и будто нетронутым временем. Костя спал, уронив голову на грудь, а мы с Кларкой сравнивали наши жизни: ее здесь, и мою — там.

Маале-Адумим, Израиль, 2014

Любовь к «Двум КАПИТАНАМ»*

* Последняя публ. в кн.: «Каждая книга — поступок»: Воспоминания о В. Каверине, М.: Б.С.Г.-пресс. Для данной книги текст переработан.

Не помню, когда я начала читать «Двух капитанов», но это было издание 1947 года, которое отец подарил старшему брату, со строгими, даже мрачноватыми гравюрами Е. Бургункера (может, они казались мне такими после картинок в детских книжках?). Зато помню, как лет в пятнадцать на обычный папин вопрос: «Что ты читаешь?» — ответила: «Двух капитанов», а на грозное: «В который раз?», не различив реакции: «В восьмой» (значит, знала и помнила, в который). И услышала озабоченное: «Так ты в жизни ничего не успеешь!» Папа склонен был считать меня глупой девчонкой, спорил, что ни за что не получу золотую медаль, а когда получила и помахала перед его носом коробочкой, обнял и сказал: «Ну, значит, другие еще глупей тебя».

Та старая, любимая, затрепанная книга (жалко реставрировать — пропадет очарование зачитанности) теперь со мной в Израиле, и на ней надпись: «Милой, дорогой Наташе, моему другу и помощнику с любовью В. Каверин. 20/IV.72». В сентябре 1971 года я пришла к нему разби-

рать его архив. А папа умер в октябре, не узнав об этом замечательном событии в моей жизни, потому что я боялась огорчить его: опять я теряю время, вместо того чтобы работать над диссертацией. Он был прав, когда сердился (после очередного концерта или спектакля я на цыпочках вхожу в дом): «Сколько можно этих развлечений, ты должна защитить себя в жизни». Много раз я кланялась его памяти: научная степень защищала меня от унижений и кормила мою семью.

Когда Мариэтта Чудакова неожиданно и решительно заявила, что Каверину нужно разобрать архив, и кому как не мне сделать это — смешно было отпираться, хоть я пыталась, — мы сохранили эту мою работу в тайне от всех (разумеется, кроме моих мамы и мужа) и прежде всего от заведующей Отделом рукописей Библиотеки имени Ленина Сарры Владимировны Житомирской, нашей с Мариэттой начальницы. В этом качестве она была заинтересована в моей полной служебной отдаче, а как негласный руководитель моей диссертации и скрытый доброжелатель (обе мы знали, что ей не стоит откровенно покровительствовать подчиненной-еврейке) заинтересованно следила за ее ходом. О тайности дела Вениамин Александрович был предупрежден заранее и строго. В моем крошечном дневнике на листике «Сентябрь» беглая запись: «Договоренность с Кавериним. Папе велела не говорить». Там же, ниже: «Жит<омирская> заседает с работой и диссертацией». Мы с Саррой Владимировной давно стали друзьями. Кто тогда мог предвидеть, что ее внук Лева женится на Кате, внучке Каверина, и в моей жизни снова сойдутся два этих столь значимых для меня имени.



Мама Е. М. Шейнерман, дед М. Н. Шейнерман, я и брат Юрий на Лефортовской площади у остановки «Коровий брод». На заднем плане мамина фабрика, 1946 г.



Отличницы 3-го «Е» класса 356 школы, я – крайняя справа, рядом – Алла Полякова, Галя Сокова и Наташа Минеева. На врезке – я в 7-м классе, 1953 г.



Госпитальный переулок, остатки ворот усадьбы Бутурлина (1971 г.), я с племянницей, слева – место, где стоял сгоревший дом Поляковой, на заднем плане мой дом; весна, жгут листья; через дорогу был дом, где родился Пушкин. Фото К. К. Доррендорфа

Мы с Кларой (Клара Михайловна Бирюкова, справа) в зоопарке. Рядом мой двоюродный брат Владимир.



Мы с Кларой у Бутурлинского дома. За нашими спинами — наш дом на Госпитальном переулке. Фото К. К. Доррендорфа



На даче у В. А. Каверина.
Слева от Каверина я,
справа – И. Е. Березовская,
стоят – В. И. Харламов и его
жена.



В начале дружбы. Справа –
М. О. Чудакова. Москва,
Арбатская площадь, 1965 г.



П. А. Зайончковский
и мой отец В. И. Зейфман
на прогулке в Сокольниках.
1960-е годы

Эрнст Чейн (слева)
и В. И. Зейфман у нас дома.
Москва, 1965 г.
Фото К. К. Доррендорфа





Заведующая Отделом рукописей С. В. Житомирская в своём рабочем кабинете. Середина 1970-х годов.

После приезда в Израиль, 1992 г. Я в центре, левее — мама и муж, правее — дети Лёня и Ася. На правой врезке: дом в центре — виден верхний этаж, наше первое прибежище; на левой врезке: обзавелись своей квартирой, она на третьем этаже левая.

Фото К. К. Доррендорфа





Яд Вашем, Зал Имён. Конический свод, отражающийся внизу в чёрной воде колодца. Здесь собраны свидетельства об уничтожении более чем четырех миллионов евреев, каждого поимённо.



В гостях у Лоры Борхов. Иерусалим, 1990-е годы.
Фото К. К. Доррендорфа

Да так, без огласки, оно было и правильной: время плохое, а архив есть архив, и мало ли кому он может быть интересен. В моем закутке в архивной группе Мариэтта готовила меня к худшему (Мариэттин закуток лучше прослушивался из соседних таких же; к тому же у меня стоял мягкий стул середины теперь уже позапрошлого века, и она провела на нем изрядное время жизни): «Ты оставь свои моральные правила и простодушные замашки и там (в ГБ) на все вопросы отвечай неведением...» Дома на антресолях у меня потом пряталась полная редакция ее книги о Зощенко и еще кое-что, доверенное ею для сохранности, — смешно, конечно, потому что наша дружба с приходом ее в Отдел рукописей была всем очень заметна. С Кавериним Чудаковых связывало в эти годы издание книги Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино». В «Эпилоге» — воспоминаниях, которые он писал тогда в стол (полностью они опубликованы после его смерти), Каверин говорит, что об этом издании «вот уже четвертый год приходится хлопотать с еще небывалым напряжением (для меня, во всяком случае)». Из этих скобок глядит на меня Мариэтта — это она привычно взяла на себя основные напряжения. Я знала о них в подробностях, прикрывая в рабочее время всю ее необходимую и страшную беготню по высоким кабинетам («только что вышла»). Мариэтта прибегала замученная и, как обычно в плохие моменты, давясь смехом, рассказывала, как трудно приходится В. А., которого щитом надо выставлять в кабинетах вперед, «подпирая сзади кулаками». Порядочность не позволяла ему трусить. Моменты, когда надо было перебарывать страх, когда мучила боязнь сделать подлость, когда он ломал себя под гне-

том внутреннего редактора, были постоянно интересны ему как мемуаристу.

Какими бы ни были предварительные отзывы Мариэтты о моей надежности (тем более важные после недавней отвратительной кражи из хранившегося в доме архива Ю. Н. Тынянова), но то немедленное доверие, с которым Каверин встретил меня, странно мне и сейчас. Мариэтта привела меня на квартиру в Лаврушинском, представила и, конечно, тут же убежала. Из тесного квадратного коридора (слева маленькая комната Лидии Николаевны, ее не было дома) В. А. провел меня в следующую комнату налево, побольше — в свой кабинет. Напротив из коридора был вход в просторную столовую.

Мы стояли посреди кабинета, он внимательно оглядел меня (я, как могла, перебарывала робость, усиленную тем, что передо мной любимый писатель). Тут и я увидела его: высокий, сухощавый... совсем не старый! Не помню перехода — он стал объяснять, что бы он хотел от меня, жаловаться, что архив запущен, и хохотать, рассказывая, до какой степени (он хохотал мило, как никто). До такой, что им нельзя пользоваться, а как раз задумана книга, основанная на переписке (будущий «Вечерний день»). Мы обратились к письменному столу, старинному, с двумя тумбами, занимавшему почти всю левую стену комнаты. (Между столом и окном — узкий книжный шкаф, напротив — кровать и книжный шкаф пошире, в торце — открытый стеллаж с книгами и папками, а ближе к двери на полу целая гора — привезенная из Переделкина для разборки часть архива.) И он сразу стал выдвигать ящики левой тумбы: «Осторожней, тут внизу письма Солженицына». Попросил передать

ему, если наткнусь, куда-то заложенные сберегательные книжки («Забыл куда, и это только между нами»). А потом извлек спрятанную среди книг на стеллаже красную папку: «Тут маленькая повесть, я хотел бы, чтоб вы прочли и сказали, как она вам. Детям она не понравилась, они против ее опубликования». Я прочла ее, она назывались «Неверность», и меня, воспитанную на «Двух капитанах», где любовь не подразумевает страсти, удивило и восхитило в ней описание плотских радостей, и не только любовных. Помню, как героиня, придя с холода на свидание голодной, со вкусом рвет белыми пальцами булку и розовую ветчину. Эту сцену я нашла позже в каком-то другом тексте: В. А. использовал кусочки несостоявшейся повести.

Мы немножко поговорили об условиях работы. Я ходила на службу каждый день, мои восемь часов стоили тогда четыре рубля. Два вечера в неделю я буду приходить на четыре часа и получать за них вдвое больше: восемь рублей. Через месяц на первую каверинскую зарплату было куплено толстое шерстяное одеяло. Я и сегодня им укрываюсь. Условились о размере и форме папок и обложек для укладки материалов, их надо было заказать. Незадолго до того Каверин передал в ЦГАЛИ (Архив литературы и искусства) небольшую часть архива, в основном материалы к «Открытой книге». Остальное передавать передумал — решил отдать к нам, в Отдел рукописей. Благодаря Житомирской, да уже и Мариэтте, репутация нашего архива была тогда высока. Мариэтта, к примеру, описывала в то время архив М. Булгакова, переданный нам Еленой Сергеевной.

В следующий раз помню себя уже в Переделкине. Я сошла на платформе Мичуринец и ищу улицу Горького, 15.

Недалеко за забором, среди заросшей соснами земли без признаков садово-огородных увлечений, низкая простая дача с мезонином (уже тогда блекло-сиреневая?). Вход, по-осеннему, не прямо через застекленную террасу (большущая, с обеденным столом), а сбоку, через кухню. Знакомлюсь с Лидией Николаевной; она маленькая, подвижная, изящно нарядная; и они с В. А. вскоре уходят. Я остаюсь одна за столом с бумагами, не оборачиваюсь, не разглядываю картин на стенах — работаю не разгибаясь. Начинают чернеть окна. Они возвращаются, и В. А. из-за моей спины наклоняется над столом. А я аккуратненько укладываю в уже надписанную обложку синюю гимназическую тетрадку с поэмой «Савонарола» — первые опыты будущего писателя! Вдруг он выхватывает тетрадку, вглядывается: «Что за чушь!» и у меня на глазах разрывает ее. Я даже вскрикнула.

Шесть лет спустя, — я уже давно не работала у него, но мы перезванивались, — его голос: «Наташенька, можно я все-таки открою вашу тайну — я пишу о вас в предисловии к той самой книге и хочу назвать ваше имя» (помнил мои запреты!). И вот как в «Вечернем дне» он описывает меня и эту сцену: «...Так в моем доме появилась молодая женщина, которую хочется назвать “тишайшей” — с такой бесшумной, но железной настойчивостью вмешалась она в судьбу моего архива. Ее зовут Наташа Зейфман, она работает в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Мягкое упорство, за которым мне сразу почудилась неотразимая воля, как добрый дух, стало витать над заброшенными бумагами, вдруг получившими то особенное значение, которое был способен угадать в них только истинный архивист. Фанта-

стическая трагикомедия в стихах, с чертями, алхимиками и монахами средневековых монастырей (школьная тетрадь, исписанная старательной рукой гимназиста), показалась мне особенно глупой, я разорвал ее крест-накрест. Наташа ахнула, в ее больших детских глазах показался неподдельный ужас. Прошел год, и я, к своему удивлению, нашел эту тетрадь в отдельном конверте, надписанном по всем правилам архивного дела».

У меня были ключи от дома в Лаврушинском, потому что Каверины больше жили в Переделкине. Одна целый вечер в пустой квартире; чтобы отдохнуть, ходила пить чай на кухню, велено было брать что-нибудь из холодильника, — или разглядывала картины в столовой. Здесь и на даче было много Биргера. Содержание письменного стола открывало нового для меня Каверина: я ведь тогда не знала, что он был среди авторов сборника «Черная книга: О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками...». Не знала, что одним из немногих он отказался подписать письмо известных в стране евреев к Сталину с предложением о высылке на Дальний Восток всего народа — так могло бы завершиться «дело врачей» (в «Эпilogе» есть описание этой истории). Из ящиков стола я доставала и укладывала в обложки тексты выступлений и писем Каверина: он защищал Солженицына, настаивал на публикации «Ракового корпуса», написал обвинительное письмо К. Федину после 4-го съезда писателей (помнится, снес вниз по лестнице и передал своему бывшему другу — они с Фединым жили в одном подъезде). Он первым после многолетнего замалчивания произнес имя Булгакова (ему было приятно, что Елена Сергеевна это ценит). А из ящиков на полу я

вынимала черновики, черновики, черновики — в том числе и «Двух капитанов». Как он работает, я увидела ясно, когда разбирала материалы к роману «Перед зеркалом»: первыми в папках лежали копии подлинных писем его будущих персонажей, и увлекательно было следить, как Каверин делает из них литературу. Он любил этот свой роман, и я рада была, что мне он тоже нравится; чтобы порадовать его, похвалилась, что прочитала второй раз. Еще были письма, они раскладывались по крупным темам, а внутри — по алфавиту имен адресатов и корреспондентов. Вдруг выпали два письма: женщина утверждала, что с нее написана Катя Татарина, это у нее были свидания точно в указанном автором романа месте и времени, и просила вспомнить ее, отозваться (я показала письма В. А., он задумался и никого не вспомнил: ее сбила иллюзия подлинности).

Поездки в Переделкино я приурочивала к выходным. Работала в маленькой комнате-библиотеке, заваленной архивом. Если обернуться, за окном сосны. В. А. за своим столом глядел прямо на них.

Каверины привыкали ко мне, я — к ним. В декабре 71-го у меня записано в дневничке: «У Кав<ерина> была — он обнял при выходе: “Моя милая”. Мариэтте про меня: “Это мое утешение”. Долго допытывался, хорошо ли он придумал писать воспоминания в виде эссе» (так написан «Эпилог»). Скоро при встрече он стал обнимать меня со словами: «Родная моя!» И он умел целовать руку — это было маленькое событие. Сердечность его манер каждый раз наново трогала меня.

Только в одном случае я встретила отсутствующий взгляд, меня не хотели слушать. А рассказать мне так хотелось...

Домашние телефонные разговоры Лидия Николаевна брала на себя, но иногда она кричала: «Веня!» — и тогда я слышала его радостное: «Зиночка!» Это была Ермольева, некогда жена микробиолога Льва Зильбера, старшего брата Каверина, она же Власенкова из «Открытой книги», по версии Каверина — создательница советского пенициллина (в книге — «крустазина»). Я вдруг захотела рассказать В. А. историю моего отца, мне подумалось, что эта почти детективная история была бы вполне в каверинском духе. Папины рассказы я слышала множество раз, они стали частью меня самой. Я начала было рассказывать В. А. о совместной работе отца с Чейном, создателем производства пенициллина, в результате чего Чейн за бесценок продал Советам права на свою технологию, о невероятном поступке Чейна, тайком передавшего отцу ампулу с американской культурой грибка, продуцирующего пенициллин, нелегально провезенную отцом из Англии через все границы «в нагрудном кармане пиджака», на основе которой мой отец и наладил промышленное производство лекарства (о советском препарате, полученном из найденной Ермольевой культуры грибка, папа говорил: «Грязный, аморфный, в чашке, не годится для производства»). Я бы рассказала, как в благодарность за все это страна оплатила отцу тюрьмой, пытками и преждевременной смертью. Я бы рассказала, как лауреат Нобелевской премии Чейн безуспешно выпрашивал отца у руководства Советов для работы в его лабораториях в Лон-

доне или в Риме, как Чейн побывал у нас дома и мы говорили по-русски...*

Но меня не слушали: «Зиночка» было святое — и это не удивительно, если вспомнить, с какой самоотверженностью она спасала Зильбера, которого сажали три раза. И я отдам поклон ей, хоть и запоздалый: к защите диссертации отца она дала блестящую характеристику его вклада в создание производства пенициллина. Да и «Открытая книга» давно жила своей жизнью, менять было нечего. Я поняла, что, увы, неуместна со своей историей об отце, и больше к ней не возвращалась.

Иногда, если я приезжала в выходной день, В. А. приглашал меня погулять — лес был рядом. Иногда сидел со мной в библиотеке, среди бумаг, которые я разбирала, и отвечал на мои вопросы: помогал. С трех до полпятого он всегда спал, поскольку издавна мучился ночной бессонницей. Изредка, чтобы пройтись, провожал меня до станции. Мне хотелось ущипнуть себя: «Это я? С Кавериним?» Не могла привыкнуть. И за дружеской манерой наших отношений с моей стороны скрывалось постоянное, державшее меня в напряжении чувство почтения к нему. Я была шокирована, когда через несколько лет, приехав на дачу, увидела новую помощницу В. А., вышедшую к столу в бигуди под косыночкой (она

* «Пенициллиновое дело». Интервью моего брата Ю. В. Зейфмана газете «30 октября» № 93 и 94 от 2009 г., изд. Московского отд. «Мемориала». Подробно рассказана вся история деятельности отца и его ареста. К сожалению, не упомянут важнейший факт нелегальной доставки отцом в страну культуры продуцента пенициллина.

живала в доме, помогала немножко и Лидии Николаевне по хозяйству), и потом слушала, как она в подробностях рассказывала им обоим про серьги, которые кто-то привез ей из Прибалтики. Я же, когда не забывалась, старалась взвешивать каждое слово, чтобы не занимать В. А. чепухой, — очень, к сожалению, утомительная и мешающая общению задача.

Конец моей работы Каверин описал в «Вечернем дне»: «И вот наступает торжественный день, когда широкий стеллаж, как хозяин, появляется в кабинете и занимает в нем почетное, заметное место. Девять высоких полок, и на каждой ряд зеленых папок-коробок с квадратными наклейками на корешках: “Произведения 20-х годов”, “Письма писателей”, “Письма разных лиц”, «Письма иностранцев”, “Письма читателей”, “О чтении”, “Письма сумасшедших” — я стал собирать их по просьбе знакомого психиатра». Когда «Вечерний день» вышел, В. А. подарил мне его с надписью: «Дорогой Наташе Зейфман, которая незримо присутствует в каждой строке этой книги, — с неизменной любовью от признательного В. Каверина. 2/Х.80».

Я ушла в 1973 году. Меня душили свои дела: авралы на службе, необходимость закончить наконец диссертацию, и главное — надо было заняться собой вплотную: почти пять лет я ходила по врачам, а детей все не было. Близкая подруга догадалась отправить меня к эндокринологу, и — свершилось. Я растерялась от счастья. Получив анализ с печатью «Положительный», бросилась к окошечку: «Это хорошо или плохо?» — «Как для кого», — буркнула тетка. Но я еще не испила чашу: при первом же осмотре меня на скорой отправили в больницу. Вхожу я полумертвая от горя в па-

лату, вижу непонятных мне абортниц и только одно милое лицо. Я к нему — и мы вцепились друг в дружку. Ее звали Маша, она была женой Андрея Хржановского, уже известного мультипликатора. Воображаю, сколько ей пришлось выслушать от меня!

Короче, Маша с младенцем оказалась летом на даче в Переделкине, поблизости от Кавериных, и он спросил у нее, нет ли кого-нибудь, кто б рассказал, как лечится женщина, если у нее долго нет детей. Такая беда должна была постигнуть героиню его нового романа. Маша ответила: «Знаю» — и назвала мое имя. «Это же моя Наташенька!» — закричал В. А. и тут же мне позвонил. Был конец лета 1975 года.

Он ждал меня на платформе, обнял, взял под руку (пятимесячное пузо еще удачно прикрывалось кофточкой, но все равно было видно), мы пошли к лесу и гуляли часа два, разговаривая в основном о романе и о моих мытарствах, а потом, дома, сели в его кабинете, и он стал записывать то, что хотел знать в деталях: например, точное название Института акушерства и гинекологии, где он, как туда попасть. Кое-что из тех моих рассказов вошло потом в «Двухчасовую прогулку». В. А. понравились мои сны о моих еще не рожденных детях. Вот я родила девочку, держу ее в конвертике на руках, а она из конвертика поет мужским хором из «Китежа». Я в восторге кричу мужу: «Иди скорей, это же твое любимое!» Он в юности пел весь «Китеж» наизусть — на муку окружающим. В. А. выбрал два таких сна, по-моему, не лучших, и анекдот о муже: задолго до рождения детей я, конечно, стала собирать библиотеку детских книг, но все же, в основном, для маленьких, а он однажды купил университетский учебник физики для 1-го курса (во сне бы тогда не

привиделось, что сын, отслужив в израильской армии, будет учиться на иврите в Иерусалимском университете).

И опять мы расстались. Под Новый год у меня родилась дочка, я послала Кавериным нашу с ней фотографию, пояснив в письме: «Причина моего долгого молчания перед вами». Еще через год муж сфотографировал меня с ней перед зеркалом — порадовать В. А. напоминанием о романе с этим названием.

Шли годы, мы изредка виделись, он дарил мне новые книги с милыми надписями. В декабре 1979-го у меня родился сын. 31-го поздравил Каверин: «Я так хохотал, когда Мариэтта мне сказала. Это такой подарок для меня к Новому году». Я пожаловалась, что никак не находится подходящего имени. «Назовите Вениамином», — засмеялся он. «Не могу, В. А., боюсь», — ответила я (только что звонила мамина приятельница тетя Фаня: «Я слышала, вы хотите назвать ребенка Ильей. Наташа, что ты, ведь это очень еврейское имя»). Он всерьез обиделся: «Ну тогда назовите Васей!» Я пролепетала, стыдясь: «У меня уже есть Ася...» По совету Сарры Владимировны (правда, она предлагала имя Леон, но оно казалось таким чуждым), совсем отчаявшись, мы назвали Леонидом, хотя это было дико — еще был жив Брежнев (Леонид в переводе на иврит — Ариель, Божий лев, тот, что на гербе Иерусалима — ох уж эти намеки судьбы!), и здесь, в Иерусалиме, его зовут Лео.

Я бывала у Каверина не часто. Он потихоньку старел, хотя оставался по-мужски обаятельным. Он все время писал, компоновал и выпускал новые книги; с 1980 года выходило второе после 30-х годов собрание сочинений. В дарственной надписи мне на первом томе он написал: «...грехи

моей беспутной молодости». Шутка не без горечи: перечитав в томе его раннее, я снова оценила точность отзыва Горького о таланте молодого Каверина: «Его надо очень любить, очень беречь, — это цветок оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почве литературы русской распускается столь странное и затейливое растение». Сбереечь, Каверин и сам знал, не получилось. Но получились «Два капитана» — книга о чести в бесчестное время; получились и книги о верности науке, и многое еще, что ценили читавшие его поколения. Он продолжал писать до конца, но в поздних вещах огорчал налет вымученности; что-то и до сих пор у меня не прочитано...

В 1984-м умерла Лидия Николаевна, ее похоронили рядом с братом, Юрием Николаевичем Тыняновым, на Ваганьковском. Гроб был темно-синий, украшенный золотом, торжественный — подарок от земляков из Резекне: она умерла во время Тыняновских чтений, проходивших в ее родном городе. Страшно было смотреть, как гроб вертикально подняли, чтобы втиснуть его в тесное пространство. И толпе было тесно, мы стояли на чужих могилах. Из моего дневника: «А. Рыбаков и Мариэтта говорили над гробом. Тихо, медленно. Могильщик поднес В. А. землю: “С лопаточки возьмите, Вениамин Александрович!” Он отошел от могилы и произнес: “Спасибо всем, кто пришел. Она вас всех любила (и заплакал чуть-чуть). Ну пойдёмте. Чего же теперь”». Это место трудно найти. В. А. с сыном вскоре пошли и заблудились, он вернулся домой в изнеможении.

Я старалась приезжать на дни рождения, а так... вечная занятость. В 1985 году я привезла ему книжку своего декабриста барона Штейнгейля, которого пестовала чуть ли

не семь лет, и в дарственной надписи: «Любимому писателю...» воспроизвела тот диалог с отцом, которым начала этот свой мемуар («Который раз? — Восьмой»). Он засмеялся своим чудным смехом.

Лето 1986-го, звонит Каверин: «Наташенька (не помню, чтоб он говорил иначе), я больше не могу: я Алексея прогнал. Найдите мне, пожалуйста, еще кого-нибудь». До этого он несколько раз жаловался на лень и безалаберность последнего своего секретаря, которого, к сожалению, я сама ему порекомендовала по просьбе коллеги, заверившей, что он, молодой филолог, мечтает работать у Каверина. Я обещала подумать. Стала думать — ну нет вокруг меня пригодных филологов! А почему, собственно, обязательно филолог? Нужен кто-то ответственный, расторопный и добрый к нему, чтобы помогал с перепиской и продолжал заниматься архивом. И я догадалась, кто это. Вернее, перед глазами вдруг появилась недавняя сцена: моя подруга Лиля Белинская стремительно идет по больничному коридору с детским горшком в вытянутой руке и так сосредоточена, что уже не видит нас с мужем, а мы замешкались у дверей, прежде чем окончательно передать ей смену у постели нашего шестилетнего сына, перенесшего тяжелейшую операцию.

Звоню ей и, как когда-то Мариэтта мне, объясняю, что надо помочь Каверину. Она, как когда-то я, говорит, что не филолог (мы с ней кончали исторический) и что ни за что: боится. Я кричу: «Дура, ведь это Каверин!» Уговариваю поехать и познакомиться, а потом уж решать. Привожу ее в Переделкино. Мы с В. А. целуемся. Лиля чинно садится («Главное не огорчиться, если не понравлюсь, — написано на лице, — да мне-то ничего и не надо», — а я злорадно

вспоминаю себя в той же ситуации). В. А. с явным удовольствием ее разглядывает. Я скоро уезжаю, чтоб не мешать их деловому разговору, спокойная за него: она останется.

Лиля облегчила ему три последних года жизни — и как секретарь, и как преданный друг. Ему уже трудно было одному, и они ездили вдвоем — в Псков, на Рижское взморье. У меня есть фотография: они стоят у самой волны, В. А. хохочет, на обороте: «Дорогой умнице Наташе — на память о нашей разлуке, с неизменной любовью. В. Каверин. 2/VIII.87». И еще одна, там же, но на следующий год: он стоит на фоне моря и держит под руки Лилю и Мариэтту.

В 85-летний юбилей мы были у него. Приезжала Катя, привезла в подарок В. А. большую белую пушистую птицу, наверное страуса: он ходил, высоко поднимая ноги, и мотал головой, а Катя учила деда, как для этого надо двигать веревочками. Весной его последнего года я привезла к нему своих коллег — очень просили, — и больше его не видела. В конце апреля 1989 года ему внезапно стало плохо, его увезли в больницу, в реанимацию, а это, по жестким советским правилам, означало, что человек умрет один, без близких.

Гроб стоял на сцене большого зала ЦДЛ. При входе, в зале и в почетном карауле было много моряков в парадной черной форме с блестящими пуговицами. Хотелось смотреть на них, это было прошлое Каверина. Дальше не помню...

На Ваганьковском я испугалась, увидев яму: мне показалось, что ее вырыли прямо на аллее. Могила и вправду несколько на нее наступает. Говорили замечательные слова. Яков Гордин закончил прощальные речи надеждой, что если есть что-то за пределом нашей жизни, то теперь В. А. и Л. Н. снова встретятся... И вдруг!.. какая радость в эту минуту: из

конца аллеи, мимо нас всех и свежего холмика, к выходу, пошла четким бодрым шагом колонна тех военных моряков, что были в ЦДЛ. Сверкали золотые трубы, гремел «Варяг», и толпа не пошевелилась, пока звуки марша не стихли за воротами кладбища. Это было как знаменитое «Найти и не сдаваться!» из моих «Двух капитанов». Каверин был бы доволен.

До моего отъезда в Израиль мы с Лилей каждое 2-е мая ходили на кладбище, сажали цветы на могиле. Она сначала была неухоженной, потом появилась темная плита с надписью в виде факсимиле В. А. — беглой подписью, в конце невинной. Мы сажаем цветочки, а сзади голос: «Мам, смотри, тот Каверин!» Мать отвечает: «Это не он — видишь, написано: Каверен». Пришлось распрявиться и заверить: он, он. Однако приятно было, что для девочки (ей лет пятнадцать) он «тот». Моей Асе тогда было столько же, она зачитывалась «Двумя капитанами», и мы с ней перебрасывались названиями глав, кто больше: «Прошу тебя об одном — не верь Николаю», «Непременно увидимся, но не скоро»... А теперь я стесняюсь сказать ей: «Я вижу тебя с малышом на руках»...

Одиннадцатый год, как мы в Израиле. Недавно я снова взяла в руки своих «Двух капитанов». Надо было подтвердить, что я не ошиблась, когда уверенно заявила, что в романе ни разу, даже в эпилоге, когда поднимают тосты за победу, ни разу не упомянуто имя Сталина. Мне не поверили: «Может, у тебя позднее переиздание?» Я тоже вдруг засомневалась: действительно, в то время — и все же Сталинская премия?.. Прочла эпилог. Нету. Стала листать назад — нету, и вдруг почувствовала, что меня снова засасывает, как в детстве, когда на призыв идти есть я, скорчившаяся

бочком в кресле, кричу: «Сейчас! Только до точки!», а сама хлюпаю носом, так мне жалко Нину Капитоновну, когда она идет к буфету пить валериановые капли.

Маале-Адумим, март 2002

Судьба из рук
ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА*

* Последняя публ. в кн.: Петр Андреевич Зайончковский: Сб. статей и воспоминаний к столетию историка. М.: РОССПЭН, 2008. С. 162—174.

Он был мне не просто учителем, как сам себя любил называть, — он был благодетелем. Это старое слово отдыхало почти век и заслуживает возрождения: точнее не скажешь. Он был таким не для одной меня, но в моей судьбе это особенная история, связанная с судьбой моей семьи, характерной для того времени. О ней — несколько слов. У моего отца по службе в Московской военно-химической академии был друг, математик Анисим Федорович Бермант, вузовский учебник которого и сейчас известен каждому технарю. Жили в доме, построенном Академией незадолго до войны. Семьи сотрудников Академии увозил в эвакуацию в Самарканд отец, и Бермант поручил его опеке жене и детей. По возвращении из эвакуации дружба продолжалась. Когда, к примеру, дочь Бермантов Люлька (это она учила меня поочередно двумя ногами сходить по ступенькам) заболела скарлатиной, их старший сын Миша жил у нас. В детской моей памяти Анисим Федорович вечно конфузит меня, тыча пальцем в пузо и изображая, как со свистом выходит воздух,

или тормозит: «Почему такие черные глаза? Опять забыла умыться?!» — и я пугаюсь: вдруг и правда?

Отца арестовали в январе 1950 года: он вернулся из заграничной командировки в разгар борьбы с космополитизмом и как еврей сгодился для обвинения по статье 58-1а, измена Родине. Его сняли с поезда (он ехал в командировку), а вечером к нам в дом пришли с обыском; мама держала меня на коленях, и я помню, как ее трясла мелкая дрожь; наутро меня отправили в школу со словами: «Папа ни в чем не виноват, никому ничего не рассказывай». Но двор уже перешептывался: понятия рассказывали, что у нас нашли пушку.

Пошла другая жизнь. Мама ждала своего ареста, думала, куда детей, а я смотрела в окошко: не идет ли папа. Следствие длилось полтора года: Лубянка, Лефортово, Суханово, мама ходила по тюрьмам с передачами, считала копейки на хлеб (купить за три или за пть? А продавщица в ларьке злобно: «Сколько можно думать?!»). Фронтовой приятель отца Д. В. Горбовский, с семьей которого по-соседски дружили (жили дверь в дверь), не заглянул к нам ни разу. Только случайно столкнувшись с мамой на лестнице, шепотом спрашивал: «Как Вил?» — и убежал, услышав чьи-то шаги. Он потом стал начальником Военно-химической академии.

Так вот, а Бермант не страшился устраивать целый спектакль, направляясь к нам: он надевал парадный костюм и шел из своего подъезда в наш не по прямой, нет, под взглядами всезнающих жильцов он шествовал по всему двору, обходя газоны. В это самое время отца пытали в Сухановке, выбивая показания на Берманта, известного своим опасным острословием. С Бермантом было связано одно из об-

винений против отца — «в связях с иностранцами: кто-то донес, что отец встречался в Америке с двоюродным братом Анисима Федоровича, чтобы передать для публикации его математическую статью.

Мне кажется, я помню каждый пряник, который разные люди приносили в то голодное время в дом. И каким же событием был большой шоколадный торт с орехами в руках Валентины Николаевны, жены Анисима Федоровича! По маминой просьбе она продавала в профессорском кругу Анисима Федоровича привезенные отцом из-за границы вещи (помню черные лаковые туфли и красную лаковую сумочку на ремешке, которые я не успела поносить). Потом кончилось следствие, отец не подписал политических обвинений, следователь сказал маме, что мы выиграли один шанс на миллион (мелкую уголовную статью вместо расстрельной первоначальной), отца отправили на пять лет в ссылку на Енисей, мама успела два раза к нему съездить, второй раз с нами, детьми; обсуждался вопрос, где жить после ссылки (нельзя было близко к железной дороге). Наконец умер Сталин, июнь 1953-го и — утром звонок в дверь. Стоит Валентина Николаевна с газетой. Амнистия! Анисим Федорович прислал ее с этим сообщением (мама и бабушка вспоминали с восторгом: «В. Н.! со спущенными чулками! Так спешила!»). Под амнистию подпадал и мой отец. Эта открытая дверь и В. Н. за ней до сих пор у меня в глазах.

Так вот, когда отец вернулся из ссылки, Бермант и Зайончковский уже были знакомы, случайно познакомились на Рижском взморье. И подружились — взглядами сошлись. Эта случайность в итоге и отдала мою судьбу в руки Петра Андреевича. Он, конечно, знал от Берманта историю отца.

И конечно, это Бермант в 57-м году попросил П. А. проследить за моим поступлением в университет. А папа с Зайончковским сблизилась после внезапной смерти Анисима Федоровича в 1958 году, которую они оба равно тяжело переживали. Они завели привычку по выходным встречаться в Сокольниках, чтобы погулять по парку и «потрепаться» (словечко осталось от Берманта, отца он так и называл: «трепач»). Позднее, в 60-х, когда два лета мы жили в «Отдыхе» по Казанке, а дача П. А. была на 42-м, он заходил иногда к нам, и старший брат помнит, как однажды П. А. рассказывал о документе, в котором Ленин предлагал привлекать к ответственности за одно только намерение, без какого-либо действия. «И это — человек с юридическим образованием!..» — сказал П.А. и, помолчав, добавил: «...заочным, правда».

Но — пока еще все живы, идет лето 1957 года, мы с двоюродным братом окончили школу с медалями, у него серебряная, у меня золотая, то есть ему при поступлении в институт надо сдавать один профильный экзамен, а мне — только пройти собеседование. Время уже не сильно кроважидное, однако насчет евреев непонятно: гласных указаний нет, негласные никто не отменял, внедренный сталинскими годами антисемитизм сидит в душах людей, и без того к нему склонных, короче ясно, что детей надо при поступлении оградить от случайностей. Я волокусь за братом брать анкеты в Строительный институт, где Бермант заведует кафедрой. Я из тех отличниц, которые не знают толком, чему отдать предпочтение, но тут родители начинают сомневаться в Строительном, не в силах соединить в воображении меня и стройплощадку, и анкету я не заполняю. Альтерна-

тива — исторический факультет Московского университета, где друг Берманта Зайончковский. Правда, в столичном университете хуже, чем в старой России: не на всяком факультете норма для евреев трехпроцентная, бывала и нулевая. Зато и у Петра Андреевича старые понятия, он считает, что русский дворянин должен помогать евреям. Старший брат, пошедший по стопам папы на химический, произносит: «Иди туда, хоть книжки считаешь!» Вот, догадываюсь я, именно это мне и нужно.

Дальше папа везет меня на 42-й предъявить Петру Андреевичу, тот меня разглядывает и спрашивает (сидим за дачным деревянным столом на лужайке). Сочувствую себе тогдашней: он такой большой, лицо крупное, с неправильными чертами и глубоко запрятанными, слегка раскосыми глазами, едва различаю его бормочущую скороговорку, строгий, но, кажется, добрый, а от его доброты зависит мое будущее. Видимо, разговором он доволен: «Главное теперь, — говорит, — не дать потопить вас на собеседовании», а для этого он сам должен быть председателем комиссии. Смутно помню собственно действие, кажется, оно происходило в темноватом кабинете декана И. А. Федосова: передо мной было нечто вроде тайной вечери во главе с П. А.; и град вопросов, от которых я успешно отбилась, и лестный восторг двоюродного брата (поступившего таки в Строительный), когда я ему эти вопросы-ответы пересказывала, сама замирая от миновавшего ужаса. Кстати, вышла почти трехпроцентная норма: из ста пятидесяти человек на нашем курсе я насчитала четырех евреев. Из них две мои сразу же близкие подруги: Валерия Леоновна Лейбович, дочь сотрудницы П. А. по университетской библиотеке, сдававшая экза-

мены второй год (он и ее подстраховывал), и Лилия Наумовна Белинская, украинка по матери и по паспорту, с которой мы вместе сдавали собеседование. На мой вопрос, как же она проскочила, П. А. ответил, сам удивившись: «Значит, не заметили».

Я робела перед ним всегда, но поначалу особенно сильно: стеснялась, когда он вылавливал меня в студенческой толпе, наклонялся поцеловать ручку, делая при этом характерное для бывшего кадета прихлопывание каблуками, и передавал привет родителям (по моим детским понятиям, я попала в университет как бы не совсем легитимно, будто была виновата в своем еврействе). Его же, в отличие от меня, нисколько не смущало наше приватное знакомство. Его не смущало и мое малолетство; он сразу доверительно предупредил меня, что один из преподавателей, семинар которого мне предстояло пройти, «стучит на своих студентов». А в университете было беспокойно: через месяц после начала занятий нас собрали, чтобы разъяснить, за что осудили на разные сроки группу молодых историков — закончилось «дело Краснопевцева». Мы слушали молча, не понимая хитросплетений обвинения, зато вполне страхась мерзости происходящего.

Мне поначалу казалось, что стоит заняться археологией, потом это прошло, а пора было выбирать специализацию, и Петр Андреевич, подумав, посоветовал нам с Лерой Лейбович идти на средневековую Францию к Нине Александровне Сидоровой, лучшему, на его взгляд, из преподавателей. Мы и пошли. Уньло учили средневековую латынь, но когда в качестве темы для курсовой мне были предложены фаблю, а ей еще что-то в этом роде, обе спасовали: скучно.

Повинились перед Н. А. и побежали спасаться к Зайончковскому.

Наша группа начинала 4-й курс, а П. А. начинал вводить в науку новый пласт исторического знания, до него немыслимый и основанный на комплексе источников, им самим к тому времени уже в значительной мере опубликованных, — он обратился к исследованию внутренней правительственной политики 1870-х — начала 1890-х годов. Он закрывал пропасть, как бы не замечая ее, между нашим временем и той живой для него Россией, где были его корни. Это был его метод: игнорировать схемы, находиться в атмосфере реалий, из них творить историческое исследование. Все данные им на выбор темы для курсовых работ были привлекательны своим несоприкосновением с последующей предреволюционной эпохой, требовавшей от тогдашнего историка необходимых клише. А моя семейная история, пережитое отцом, его рассказы о тюрьме, под которые я засыпала в нашей единственной комнате (бабушка храпела, и папа иногда уходил ночевать к Бермантам), — конечно, внушили мне отчетливо ощущаемую брезгливость если не ко всему советскому, то уж к этим клише — точно.

В числе предложенных Зайончковским тем была правительственная политика в области просвещения. Я прикидывала: университеты — сложно, начальная школа — наверное, скучно, и выбрала нечто среднее, что через годы в названии моей диссертации прозвучало так: «Среднее образование в системе контрреформ 1880-х годов»*. И началась жизнь! Для курсовой я просматривала старые газеты

* Зейфман Н. В. Среднее образование в системе контрреформ 1880-х годов: Канд. дисс. М., 1973.

и журналы, а для дипломной работы П. А. засадил нас, по своему обыкновению, уже и в архивы. Становилось ясно, как в любви, что это наконец мое!

Как всегда, П. А. организовал практику для своей группы в Центральном историческом архиве (ЦГИА), и в начале 1962 года мы поехали в Ленинград. Все было замечательно: город, архив в доме Лавалей на набережной у Сенатской площади, расписные плафоны в читальном зале, снег, отвесно падающий в тесный дворик за окном, даже переплетенные в синюю вощеную бумагу дела Министерства народного просвещения. Среди прочих напутствий Петр Андреевич велел нам с Лерой непременно пойти в Александринский театр: там впервые после долгих лет запрета был поставлен Булгаков («Бег»), мне это имя было внове.

На последнем курсе он водил нас в Исторический музей, потом в отдел рукописей Ленинской библиотеки, который тогда еще находился в главном здании Пашкова дома, глядящем на Моховую. Прошли дверь, над ней слова основателя Румянцевского музея: «На Благое Просвещение», по чугунной винтовой лестнице поднялись в кабинет, обставленный мебелью из светлой карельской березы. Восемь лет, с конца 1944 года, это был кабинет самого Зайончковского, который после фронта пришел заведовать отделом. Потрясение, испытанное мною на отдельской выставке рукописей, по которой нас водила его ученица, несомненно, сказалось на моей судьбе.

Кстати, через пять лет я сама делала новую ее экспозицию. Экспозиция приурочивалась к помпезному празднованию советской властью своего 50-летия, а я включила в нее запретного Мандельштама — автограф стихотворения

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» с его концовкой: «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, / Шевеля кандалами цепочек дверных» (рукописный отдел был смелым тогда). С легкой руки Мариэтты Чудаковой, уже года два работавшей в отделе, «Вопросы литературы» напечатали мое сообщение о выставке с упоминанием Мандельштама. Утекло сколько-то воды, и я не сразу поняла, почему Петр Андреевич таким взволнованным голосом спрашивает меня по телефону: «Наташа, а вы знаете, кто вы? Вы — советский архивист!» Оказывается, ему кто-то привез американский трехтомник Мандельштама, и он держал в руках именно указатель, где против моего имени стояло это восхитившее его определение (они включили мою статейку в библиографию). Право, еще раз я слышала такой его голос, когда он позвонил мне сообщить, что избран членом-корреспондентом Британской Академии.

В марте 1962 года, когда я впервые пришла в отдел рукописей собирать материал к дипломной работе, он только-только переехал во флигель Пашкова дома на улице Фрунзе. Теперь это снова Знаменка, и стоит мертвое пустое здание с заколоченными железом окнами первого этажа и распахнутыми бесхозно форточками второго. Вон мое окно, смотрит сбоку на въездные ворота со Староваганьковского переулка во двор. И я смотрела на них почти четверть века. А тогда — двухсветный читальный зал с мартовским солнцем сквозь новые желтые занавеси, посреди зала на постаменте у колонны беклемишевская девушка в мраморном кресле, поглощенная чтением: рубашка спадает с плеча, из-под нее ножка с нежными пальчиками. Есть и мраморный бюст нахмуренного молодого Ленина, но он в дальнем

от входа углу, что непривычно (бывало, их меняли местами в зависимости от хода отдельской истории).

И тут голосом Петра Андреевича, который, не складывая с себя бремя ответственности за учеников, занялся нашим трудоустройством, снова явственно говорит судьба: «Ну, куда, дорогая моя, вы хотите, — спрашивает он, — в отдел рукописей или в Исторический музей?» (там и там его ученики и друзья, он может просить о помощи). Я вспоминаю темные захлапленные закоулки музея и уверенно поддакиваю Провидению: в отдел рукописей! Моя Лера уже потихоньку работает в ФБОН, она и до сих пор там, много лет уже это ИНИОН. Однако прежде надо освободить нас обоих от обязательного распределения (в школы Владимирской области; известно, что мы не нужны там, но — положено...). Просвещением во Владимире ведает фронтовой друг П. А. Василий Вячеславович Криштафович, и он высылает нужные справки об освобождении. У меня сохранилось письмо отца с необычным для него обращением: «Сердечный Петр Андреевич!» — по поводу «вольной» на опекаемых им «двух девиц», полученной от Криштафовича (по традиции, последний становится другом и отца). А я поступаю в распоряжение Сарры Владимировны Житомирской, которую Петр Андреевич оставил после ухода из отдела рукописей в 1952 году временно исполняющей обязанности заведующей, что поразительно во время «дела врачей». Она будет возглавлять отдел двадцать пять лет, и при ней он укрепится как одно из достойнейших культурных заведений. Я проживу в нем двадцать шесть лет, и когда уйду, за мной, в буквальном смысле, заколотят дверь нашего флигеля; а бывшее достоинство отдела к тому времени переместится в воспоминания.

«Не знаю, где вы мне понадобится», — сказала Сарра Владимировна при нашем знакомстве. Через много лет я допрашивала ее, трудно ли ей досталось оформление меня с моим пятым пунктом, но она не помнила: год был 1962-й — как известно, не из худших. Я сразу понадобилась расставлять каталожные карточки на фонды, возвращаемые к жизни из спецхрана. Три с лишним года я работала в читальном зале. Привычно бежала к телефону: «Наташа! Петр Андреевич!» Телефон стоял в «бронеполках», где хранились заказанные читателями материалы, и я помогала П. А. делать сверку, вычитывая нужные ему места из рукописей.

В отделе все было проникнуто духом Петра Андреевича. Это сказывалось в почтительном отношении к читателям («Ах вы издалека и только на три дня, — хлопотала хранитель Г. Ф. Сафронова. — Быстро заказывайте рукописи, и вам их немедленно принесут»), в заботе об информационно-справочных изданиях, еще им затеянных, в совершенствовании каталогов, в связях с широким кругом ученых и литераторов, поддерживающих экспертизами закупочную политику отдела, в неформальном, наконец, стиле руководства, присущем С. В. Житомирской.

О Зайончковском-начальнике обожали рассказывать анекдоты. Например, заботливый Петр Андреевич вывешивает приказ: «Такому-то к четвергу закончить диссертацию!» Смеялись, вспоминая, как среди совещания вдруг звонок из дома — и Петр Андреевич начинает уговаривать дочку Лялю съесть котлетку.

Мне нравилась обычная краткая концовка его архивных описаний, без умозаключений, а просто: «Таково содержание архива Милютина», к примеру. Помню, в конце обзора

первого разобранного мною архива — знаменитого земца Д. Н. Шипова* — мне ужасно хотелось повторить формулу П. А., но чертыхающаяся подруга Мариэтта с усилием выколотила из меня несколько положенных итоговых фраз. (Я сохранила рваненькую бумажку с записью моих слов ее явно раздраженной рукой: «за которым встает довольно полная картина общественных умонастроений...» Ужас!) Через много лет, вскоре после смерти Зайончковского, я заканчивала биографию полузабытого тогда декабриста, предваряющую книгу его писем и воспоминаний, и с наслаждением вывела: «Так прожил свою жизнь Владимир Иванович Штейнгейль» — римейком тех концовок Петра Андреевича и маленьким салютом в его честь**.

Петр Андреевич продолжал поддерживать меня в мои трудные минуты и на работе. Помню эпизод, когда я решила уйти из отдела, не вынеся явной, изводящей неприязни заведующей читальным залом. Сама ли сказала об этом Петру Андреевичу или кто-то из родителей донес, но помню, как сдавленно реву в своей рабочей комнате, а он прикрывает собой дверь и урезонивает: «Ну, дорогая моя (это было его всегдашнее обращение, и доброе, и сердитое), что уходить, так везде может быть, ведь вы молодая, только что благополучно вышли замуж, это не всякому приятно...»

Да, молодость, бесконечные консерватория, театры, выставки, путешествия, а папа свое: хватит развлечений, кто

* Зейфман Н. В. Архив Д. Н. Шипова // Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 31. М.: Книга, 1969. С. 115—142.

** Зейфман Н. В. Декабрист Владимир Иванович Штейнгейль // Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1985. С. 48.

знает, как жизнь сложится, надо себя защитить, пора браться за диссертацию, звони наконец Петру Андреевичу. П. А. пробовал добиться для меня места в аспирантуре моего родного университета, но не преуспел — несмотря на мою удачную дипломную работу и почти красный диплом. Теперь речь шла о прикреплении для сдачи кандидатского минимума к Саратовскому, куда он ездил преподавать.

И вот я снова иду в высотный дом у Красных ворот, подъезд 10, этаж 9, квартира 179. И снова робею до отупения. У меня это выражалось, например, так: П. А. назначает мне прийти в 12 часов. «А вы будете дома?» И он кипит: «Ну, дорогая моя, если я сказал в двенадцать...» Ох, какой длинный список литературы по истории русского феодализма я получила для первого экзамена! И думала про себя: не хочется, не одолею, а Петр Андреевич, оставив задыхающегося в лае Тотошу за дверью, провожает к лифту, приговаривая: «Моя ученица должна все знать». Он всегда провожал до лифта и передавал поклон «Вилу Осиповичу и Катерине Моисеевне», архаично чуть упрощая имена родителей...

И вот прошло лето, отданное бесконечному обязательному чтению, и П. А. везет меня к Ю. Г. Оксману, который тоже преподает в Саратове и поэтому имеет право принять у меня экзамен. Оксман сидит за большим письменным столом, странно похожий на отцовского старшего брата дядю Яшу, и после недолгого их разговора я плавно отвечаю на первый вопрос — о Соборном уложении 1649 года. Но Петр Андреевич очень волнуется (он в дороге объяснял мне, «что такое Оксман», хотя я и так знала), и едва я открываю рот, чтобы изложить Записку Карамзина «О Древней и Новой России» (но делаю, видимо, слишком глубокий вдох), реша-

ет, что я ее не читала, и пускается в упреки. Мне все же удастся что-то сказать, и Юлиан Григорьевич с добрым лицом ставит мне четверку. Мы возвращаемся на троллейбусе по Ленинскому, я всхлипываю, а Петр Андреевич — свое, на этот раз с извинительной интонацией: «Моя ученица должна все знать».

Я тяну с кандидатскими экзаменами, делаю паузы, и не я его, а он меня теребит с диссертацией. И сердится, и не мне, а отцу дарит «Кризис самодержавия»: «С любовью, автор. 28/1.66 г.» Родители возвращаются из дома отдыха ВТО под Рузой, где были по следам Зайончковских, очень довольные тем, какой успех у тамошней публики имели рассказы Петра Андреевича. Его сопоставления, например цифры, которые он называл, когда говорил о численности штатов столичных охранных отделений Российской империи, — они укладывались в десятки! — поражали искушенных в современных реалиях слушателей. В узком кругу он делал то, чем потом Н. Я. Эйдельман так восхищал со сцены.

А я бывала у него не часто, тратить его время на разговоры, кроме деловых, не решалась. Хотя нет, вот запись в моем дневнике от 30.10.1972: «1 ч. 15 разговаривали о всяком (Касвинов, Война, Справочник)», — но что за ней стоит, могу только догадываться. А однажды мы сидели в его кабинете, который чудесно отдавал стариной (большой письменный стол с бронзовым мальчиком, подсвечником и стеклянной чернильницей; картины, теперь уже позапрошлого века: натюрморт с корзинкой и выпавшими из нее яблоками, женщина, склонившая в молитве лицо под белой накидкой), и П. А. растолковывал мне, как принижена официальным постулатом роль личности в истории, и все добивался:

«Вы согласны, дорогая моя?» Другой раз он упомянул, что в поздних писаниях Герцена явственно выражено неприятие им революции — в пользу либерализма. Я тогда прочувствовала на себе выражение «глаза открылись». «Как? хрестоматийный революционер Герцен?» — «А вы почитайте».

В дарственных надписях Петра Андреевича на книгах всегда присутствовали слова «учитель» и «на память» (он думал о себе после жизни, а память и работы учеников были ее продолжением), но были и упреки: «От все еще надеющегося на нее учителя». Когда в 1971 году умер папа, после похорон П. А. позвонил маме: «Хорошо бы Наташа успела защитить диссертацию при мне».

Наконец еду к нему на дачу для окончательного разговора о теме диссертации. Он выпустил недавно «Российское самодержавие в конце XIX столетия», и я в растерянности: «Вы же уже все написали...», а он в ответ: «А это, дорогая моя, выяснится, когда вы возьметесь за дело». И оказался прав. И был очень доволен, когда выяснилось, что не все... Я взяла сейчас в руки эту книгу и с изумлением увидела забытое: он заканчивает краткое предисловие благодарностью мне и еще одному своему студенту «за информацию о некоторых архивных документах». К размышлениям на тему: учитель как нравственный образец.

Всю организационную часть, связанную с защитой, Петр Андреевич взял на себя. Было ужасно жаль, что он заболел, на самой процедуре не был и не слышал адресованных ему слов моей благодарности и похвал, которые заслужила его ученица. Снова задумываюсь, в чем, собственно, он был мне учителем, кроме такого рода основных вещей, как тема исследования, им предложенная, или воспитанное

им стремление базироваться на источниках, без чего для него не было науки и что обеспечило долголетие его работам. Нашему курсу он не читал лекций, а в семинар к нему я не успела, задержавшись в средневековой Франции (раз три, правда, он приглашал нас, опоздавших, на собеседования домой). Но несколькими замечаниями в разговоре он умел освободить от непроизвольного подчинения штампам, а щепетильность по отношению к источникам передалась мне в виде панической боязни натяжек в своих работах...

Хотелось перенять независимость и чистоплотность, которой отличались его работы от потока исторической продукции, оформленной по канонам того времени всеми необходимыми атрибутами правочности автора. Так, однажды я была поражена, увидев во вступлении к диссертации по истории феодальной России поток цитат из классиков марксизма-ленинизма, хотя руководителем диссертанта был самый выдающийся в то время, по мнению Петра Андреевича, историк русского средневековья.

Со мной же произошла такая история — я расскажу ее только в продолжение рассуждения о себе как его ученице. Когда после защиты я пришла сдавать диссертацию в ученый совет, секретарша сунула мне для обязательного заполнения анкету, в которой среди прочих была строчка: сколько цитат из классиков марксизма-ленинизма содержится в диссертации (филолог М. Чудакова, да и не одна она, никак не соглашались поверить, что этот пункт мне не примерещился). Я поплелась к секретарше: «А что делать, если у меня только две цитаты?» (я сама, предполагая что-то подобное, из трусости прикрылась двумя замечаниями Ленина о школьных делах 1880-х годов, оправдывая себя тем, что

беру их как свидетельство современника, — он учился в это время). Секретарша, добрая девушка, тоже растерялась: «Нет, лучше не пишите ничего». Так я и сделала.

Петр Андреевич мог бы считать свою роль в моей жизни завершенной. Но нет, сразу после утверждения результатов защиты он вступил в полосу трудных и неприятных для него разговоров с новым директором Библиотеки имени Ленина Н. Н. Сикорским (от которого зависели условия и его работы в ней) — добивался, чтобы меня повысили в должности. Бесплезно — при Сикорском попала в опалу Житомирская, благородные традиции отдела рукописей начали исчезать (теперь, к примеру, читателю, будь он из любого далека и ненадолго, рукописи подавали на третий день после заказа, а еще любили с апломбом отвечать, что заказ не соответствует заявленной теме), отдел стал разваливаться: старые сотрудники уходили сами или их переводили в другие подразделения, — известная многим печальная, но характерная история. Враги Житомирской натурально и успешно играли на струнах антисемитизма в душах ее подчиненных, ну и я тут — как объект клеветы и травли. Зайончковскому в ответ на его хлопоты директор говорил, что у меня мало научного стажа или, скажем, печатных работ...

В июле 1978-го, судя по моему дневнику, П. А. предложил мне на пять лет перейти в его группу для составления предметного указателя к 11-му тому справочника по мемуарам. Я мучилась, уходить ли, ведь ясно было, что надо бежать, но так не хотелось бросать любимое дело и оставшихся ему верных коллег. Тут разом освободилось несколько вакансий, и наконец, через четыре года после защиты, я получила положенную мне ставку. Наши телефонные разговоры ста-

ли реже, но в каждом из них Петр Андреевич спрашивал, как здоровье мамы и мужа, сколько уже лет детям (он путал, кто у меня, но твердо знал, что дети, слава богу, есть) и хватает ли нам денег. И в каждом — с гордостью говорил, что работает, и называл порядковый номер очередной своей монографии.

Небеса наградили его красивой смертью: он умер, как мечтал, за работой, между полками спецхрана библиотеки, куда регулярно приходил по делам своего последнего библиографического справочника. Через год, в следующем сентябре, мы отметили его 80-летие: за длиннейшим рядом составленных вместе столов в помещении какой-то столовой в аспирантском здании Университета сидели его ученики и коллеги, речами руководил Н. Эйдельман. Пошла жизнь без него, но для меня все равно — с ним, поскольку судьба продолжала осуществляться в заданном им направлении.

Из отдела рукописей пришлось все же уйти, я работала больше двух лет в библиографическом отделе у В. И. Харламова, светлая ему память, он выпросил меня, несмотря на то что в отделе кадров его спрашивали: «А вы знаете, кого берете? Ведь они живут с пальцами международного сионизма на шее» (они — новое начальство рукописного, и с моими пальцами, разумеется, я одна там такая оставалась). У Харламова как раз начиналась работа над библиографическим справочником «Литература русского зарубежья», с американской стороны ею руководил ученик Зайончковского профессор Терри Эммонс.

Потом муж решил увезти семью в Израиль, и мы, ничего не понимая в своем будущем, говорили друг другу: «Ну что ж, что-то в жизни сделано, а там будем перебирать апель-

сины». Однако вышло иначе: мы уехали в конце октября 1991 года, а в начале июня 1992-го я уже работала в архиве Яд Вашем, Израильского национального института, тема которого — Катастрофа европейского еврейства, Холокост. Пригодилась моя специальность историка и профессия архивиста и ученая степень: задача отца и Петра Андреевича завершилась, они защитили меня в этой жизни. А я пригодилась Израилю, поскольку с моим участием Яд Вашем стал пополняться копиями необходимых ему документов из российских архивов, которые как раз в это время раскрылись. И тут мне был уготован подарок: встреча, некоторым образом, с самим Петром Андреевичем.

В 1995 году в очередной командировке в Россию я просматривала фонд Комиссии по изучению Великой Отечественной войны, который хранится в архиве Института истории РАН. Листаю я, листаю, одним взглядом выхватываю содержание, и вдруг — странно знакомый почерк, не может быть... и подпись внизу — невероятно! Вернулась к заголовку и стала читать:

«Гв.-майор П. Зайончковский. Докладная записка начальнику 7 отдела Политуправления СФ майору тов. Зусманович.

На основе опроса местных жителей г. Харькова мною установлены следующие данные о политико-моральном состоянии войск противника.

Гражданка Скорнякова Ираида Павловна, научный сотрудник биологического факультета Х.Г.У., проживающая по Ивановской ул., д. № 25, показала следующее:

В последние дни пребывания немцев в Харькове имелось немало случаев, когда отдельные солдаты, желая остаться и сдаться

в плен, просили приюта у местных жителей. Я знаю несколько случаев этого на нашей улице. Мне также известно со слов живущего у нас в доме 13-ти летнего мальчика Юры, взятого эсэсовцами дивизии “Адольф Гитлер” для хозяйственных работ в одну из рот...” и т. д.*

Похоже, это был момент знакомства Петра Андреевича с будущей женой! Я позвонила Ираиде Павловне, рассказала о находке, она обрадовалась, принялась вспоминать, каким он был в то время: некрасивый, но так хорошо воспитан, такая редкость в тогдашнем ее харьковском кругу... Она быстро поняла, что надо принять его ухаживания. Поговорили о том, как ей получить копию записки. Я не всегда бывала у нее в свои приезды в Россию, но старалась звонить в дни рождения и памяти Петра Андреевича, а иногда и в ее день рождения. (В последний раз Ляля ответила: «Мама не может говорить, Наташа. Она умирает».)

Однажды, будучи у нее, я вытащила со стеллажа новое издание солженицынского «Бодался теленок с дубом», где он раскрыл имена людей, помогавших ему в работе. Среди них были и библиотечные сотрудники Зайончковского. Ираида Павловна удивилась: «Вы не знали, что его группа тайно искала нужные Солженицыну сведения?» На книге была дарственная надпись автора Ираиде Павловне «в память о неоценимой помощи Петра Андреевича». Я в тот визит сделала снимок их обоих: догадалась посадить ее под

* Архив Института истории Российской Академии наук. Ф. 2, Комиссия по изучению Великой Отечественной войны. Разд. 6. «Оккупированные территории», оп. 6, Харьков, д. 66, л. 1—2.

его замечательным карандашным портретом 1954 года. Зашла женщина, покупавшая ей продукты, и сфотографировала нас вместе, стоящими позади письменного стола П. А., чтобы видны были все обычные на нем предметы. А в последний раз мы навестили ее вместе с М. Чудаковой, которая тоже чувствовала, что откладывать больше некуда. Ираида Павловна двигалась трудно, она заранее предупредила нас, что придется самим накрыть на стол и убрать посуду («Вымою только сама!»). Говорили о трудностях ее быта, о недомоганиях, потом застряли на теме взрослых дочерей; ее лицо при этом было полно достоинства.

Еще при отъезде я взяла с собой в Израиль архивные материалы и на их основе написала статью, которой фактически завершила свою диссертацию: в 70-х годах слово «евреи» скрипело на зубах и мы с П. А. вынуждены были обойти эту тему стороной*. Статью я посвятила памяти учителя.

2004, 2015. Израиль

* *Natalia Zeifman*. Еврейский аспект охранительной политики Александра III (К истории введения процентных норм в средней школе) // *Jews and Slavs*. Vol. 4. Hebrew University of Jerusalem, 1995. P. 133—155).

Еще немного о КГБ, ГБЛ
и еврейском вопросе*

* Статья опубликована как дополнение к публикации: С. В. Житомирская. В условиях несвободы (Из записок архивиста) // Тыняновский сборник. Вып. 11. М., 2002. С. 811—843, 814—848.

Опять Пурим, веселый еврейский праздник Спасения. Теперь я живу в стране, где каждый знает, что это значит. А тогда, в конце 60-х, я написала статейку для пропагандистского глянцевого журнала «Советская культура» о рукописи первой пьесы русского театра «Артаксерксово действо» (переложение «Книги Эсфири», части Ветхого Завета), украшавшей выставку в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени Ленина, ГБЛ). Ловко увиливая от неудобного — время борьбы с сионизмом — слова «еврей», я упомянула, что Эсфирь, мол, спасла свой народ от истребления. И подарила журнальчик родителям. Папа спросил: «А ты знаешь хоть слово Пурим?» Я не знала, потому что это он рос в религиозной семье и в 25-м году сменил имя Хаим на имя Вил, а я уже росла в семье совсем светской (мама и бабушка на идиш не говорили). Очень кстати он рассказал мне про Пурим, потому что вскоре мне пришлось за свою ловкость отвечать.

Звонят в нашу архивную комнату из стола справок библиотеки и приглашают меня немедленно зайти: «Вас ищет

супружеская пара из Америки». Вот ужас-то, думаю я по дороге в новое здание, ведь у нас там никого нет, так и в анкете моей написано; утешает только сумасшедшая мысль: а вдруг наследство? Вбегаю, и навстречу мне поднимаются два симпатичных старичка. На идиш они начинают изумляться, что я такая молоденькая девочка, а они думали, что я старая еврейка, которая чуть ли не из заключения прорвалась за рубеж со своей статьей, и о Пуриме ей, конечно, не дали написать. Я признаюсь, что идиш не понимаю, и на английском бормочу, что рассказ о рукописи сознательно подавался в контексте русской культуры. И я, к счастью, уже понимаю их недоумение. Успокоенные, что со мной все в порядке, они приглашают меня непременно зайти, когда буду в Бостоне, вручают визитную карточку, и мы расстаемся. При разговоре, естественно, присутствует сотрудница справочного стола.

Радостная, что все обошлось, я плюхаюсь за свой стол, и немедленно звонок Житомирской: «Наташа, зайдите». Вхожу. «Пишите объяснительную, о чем вы говорили с иностранцами в столе справок». — «Да ну, объяснительную, — пытаюсь я урезонить начальницу, — просто...» — «Не валяйте дурака, Наташа, — буднично советует Сарра Владимировна. — Вы не по службе и не в своем рабочем помещении говорили с иностранцами, о чем, пишете...»

Всю жизнь хотела спросить у Сарры Владимировны, а как эта система работала? Да все неловко, да и недосуг, всегда есть о чем поговорить, ведь отношения давно уже дружеские. Наконец недавно снова повидались. «Странно, — сказала я, — сколько мы с Мариэттой обкатывали на языке имена возможных наших стукачей, и так и не знаем, кто и сколько». Мы обменялись предположениями и почти сошлись во мнениях.

Кстати, тут только я услышала, что партийных старались не задействовать, чтоб избежать их случайной откровенности с товарищами по партии. И тут прояснилось мне, что главным объектом внимания была сама Житомирская: «А как же? Ведь мы сидели на материалах государственной важности!» А моя простенькая история и вовсе загадки не представляла: сотрудница стола справок обязана при моем появлении позвонить в спецотдел и описать ситуацию; начальница спецотдела немедленно сообщает С. В., что ее работник находится в неофициальном контакте с иностранцами, а это по инструкции означает, что моя объяснительная должна лечь в специальную папку, которую раза два в год пролистывает прямо в кабинете С. В. эта самая начальница спецотдела. Кстати, все контакты с иностранцами самой С. В., не кончившиеся официальным допуском их к работе с рукописями (а значит, и наличием читательской карточки и уже другой формой слежки), сопровождалась объяснительными в той же папке.

Тогда я вспоминаю еще один эпизод. Я вхожу в читальный зал, и ко мне с сердечными восклицаниями движется американский профессор Терри Эммонс — у нас один учитель, Петр Андреевич Зайончковский. Минут пять мы разговариваем, я поднимаюсь к себе наверх, и снова звонок от С. В., отнекивания, объяснительная («Но вы же не работник читального зала»). «Кто?» — спрашиваю я теперь. «Заведующая читальным залом, конечно; у нее соответствующая инструкция». — «А если ее нет в зале?» — «Заместитель». — «А если и ее нет?» — «Ну, так и пройдет».

Есть люди, которым дано, применяясь к обстоятельствам, делать свое дело, и обстоятельства эти как бы не замечать, по мере надобности их раздвигая. Сталкиваемся с С. В. у дверей

ее кабинета, где начинается политинформация. Я простынаю: «Не могу зайти, заранее тошнит». Она свое обычное: «Будет вам, Наташа! Входите». У нее всегда в порядке отчетность за необходимый партийно-политический декор жизни отдела, я же, сразу после прихода став комсоргом (предыдущий счастливо скинул с себя этот кошмар), через год слышу от парторга Л. В. Тигановой, что опозорила в этом качестве отдел (давно уже не помню — чем?), и кричу в ответ: «С каким таким огоньком надо работать? Вы скажите, может я пойму!» Ох уж эти мечты моей молодости: «Скорей бы двадцать восемь лет!» (конец комсомольского возраста).

Я пришла в отдел осенью 1962 года, как раз возвращали из спецхрана архив Короленко, и меня посадили расставлять на него карточки в каталог. А свою первую политинформацию — о какой-то библиотечной конференции, кажется, я решила закончить человеческими словами, но по сути она носила лишь отчетно-праздничный характер. Помню некое шевеление в кабинете и высокого галантного старика Б. А. Шлихтера, который идет приветствовать меня с лицом, говорящим: устами младенца... (Он был порядочный человек. Кстати, любимый мой отделский анекдот про Зайончковского: П. А. принимает на работу нового сотрудника, задает ему разные вопросы, а последний всегда такой: «Скажите, вы порядочный человек?»)

Тем временем в отделе появляется Мариэтта Чудакова, приглашенная написать обзор архива Фурманова, и обзор этот, далекий от официально принятого образа, идет в юбилейные «Записки Отдела рукописей». Я публикую в «Записках» почти-тельную статью о знаменитом земце Д. Н. Шипове, стоявшем у основания российских политических партий, а в 1918 году возглавившем «Контрреволюционный центр», и упоминаю со-

чувственно, что он умер в советской тюрьме от голода (1920-й год; дочери еще выдали его тело). И С. В. радостно кричит мне в коридоре: «Идите, Наташа, расхлебывайте свою мировую известность — из Ленинграда за вашей статьей приехали». Это 1968 год, дальше время снова мрачнеет, но в отделе все идет своим чередом, определяемым теперь во многом присутствием Мариэтты. Она работает с архивом М. Булгакова, и впереди четыре года, когда цензура каждый раз выбрасывает обзор архива из готовых «Записок», а они с С. В. с равным и неустанным мужеством возвращают его в следующий номер (в напечатанном наконец обзоре «Собачье сердце» проходит без названия — «третья повесть» — она еще на спецхранении).

А политсеминары незаметно подменяются Мариэттиными литературными обзорами. В один вздох мы с С. В. вспоминаем, что она открыла нам Кушнера: «Я сразу взяла его в библиотеке и поняла, что это мой поэт». И я тоже. «Но ведь должны были настучать, — говорит С.В., — я все время ждала. Не настучали». Может, им тоже было интересно?

Закончу сонетно — снова еврейской темой. Об этом мы с С. В. не успели поговорить — до следующего раза, бог даст. Она взяла меня в отдел по просьбе Зайончковского. Три с лишним года после университета я работала в читальном зале, иногда заменяла секретаря. Выглядело так: еврейка, взятая еврейкой. За ней приглядывали. Когда года через два я пришла к ней просить перевести меня в архивную группу, она ответила: «Не могу. Все будут недовольны» (думаю, что кроме еврейства на мне тогда висел еще свежий комсоровский позор, — так и не могу вспомнить, в чем он заключался). — «Кто — все?» — завопила я нагло. «Вы сами понимаете!» Мы обе были возмущены друг другом.

Понадобилось с привычной еврейской истовостью доказывать свою состоятельность: статья в «Записках», подготовка громадной юбилейной выставки, сдача кандидатских экзаменов. Вот бы посмеялась С. В., если б я напомнила ей сейчас, как пришла просить характеристику для прикрепления к аспирантуре (в Саратовском университете — в моем Московском отказали, вопреки усилиям Петра Андреевича): «Гапочко и Сидорова (сотрудницы отдела) сходили вон в аспирантуру и вышли быстренько, а у вас на лице не написано, что вы способны к научной работе». Наконец освободилась ставка, и я слышала у себя в каталогах, как бедная С. В. отбивается за шкафом от нападков заведующей читальным залом: «Она безответственная, она забыла однажды отдельскую печать дома, у нее невнимательные глаза, когда в смену она принимает дела...» И низкий голос С. В.: «Но за своим рабочим столом, занимаясь научной работой, она будет другая».

Потом явление Мариэтты, наша враз вспыхнувшая дружба, ощущение защиты (захожу в ее закуток и рассказываю растерянно, что И. М. Кудрявцев, очень почитаемый начальник «древней» группы, заявил сейчас, принимая у меня работу, что евреи были первыми фашистами, потому что первыми объявили себя избранным народом; я еще мямлю что-то, а ее уже нет — понеслась к нему воевать) и ее чудесное умение показать на меня хвастливо другим: какой, мол, ее подруга стоящий работник — все это вывело меня до времени из-под пристрела недоброжелательных глаз. Тогда же, наверно, и с С. В. немного спал гнет моего присутствия в отделе.

Тут останавливаюсь, хотя целую жизнь еще надо бы рассказать.

2002

Радости АРХИВИСТА

Прочсть нечитаеый почерк или разобратья с беспорядочным архивом — да, трудно, но захватывающе интересно. Каждый фонд — это новый герой, новая тема, ведь отдел рукописей — хранилище общекультурное.

Припоминаю...

...передо мной два листа старой бумаги, старыми же чернилами (по справочнику бумажных знаков окажется — 1818 год). Справа в углу помета: «Копия». Слева над текстом: «20. Сентября 1825. Таганрог». Так. Очень интересное сочетание времени и места. В эти дни в Таганроге находится Александр I, здесь же он 19 ноября умрет, а в результате в России будет междоцарствие и случится восстание декабристов. Внезапность кончины царя, человека крепкого здоровья, от обыкновенной простуды породит устойчивый слух, что он вовсе не умер, а тайно ушел, «оставил корону», как о том давно мечтал, и прожил еще долгую жизнь старцем в Сибири.

Я разбираю и описываю коллекцию известного в XIX веке собирателя культурных ценностей Ивана Егоровича Бецко-

го; в данный момент у меня в работе материалы из личных архивов, собранные им в имениях Харьковской губернии.

Так о чем же письмо? *«13-го сего месяца несколькими часами прежде Государя прибыл я благоговейно по усыпанному песку до очень чистенького здешнего городка».* К тому времени я начала заниматься декабристами, кое-что знала и уже мечтаю: а вдруг автор письма везет очередной донос на заговорщиков? И список тайной организации? Такие списки с громкими именами скоро лягут на стол государя, и некоторые сторонники гипотезы об уходе царя в старцы считают, что он не выдержал угрозы, от них исходящей.

Читаю дальше: *«Наконец, 15 имел приватный вход в кабинет царя и исповедь откровенная и все побуждения, все излито было, но завеса не поднята еще и закрывать должна будущий путь до предположенной цели, доколе дождусь...»* Что-то не то, пока не ясно, о чем он...

А письмо подбрасывает новых дровишек. Это уже 20-е числа сентября. *«Скоро закатится наше солнце, но недалеко и куда, здесь мы ничего не знаем».* Неужели, — загораюсь я, — это прямое указание на тайный уход царя?!

Текст письма фрагментарный, с пропусками, с поправками и зачеркиваниями, очевидный перевод с французского. Почерк мне знаком по другим документам, взятым Бецким в харьковском имении А. Н. Надаржинской; она и писала. Видимо, что-то в этом письме привлекло владелицу поместья. Что о ней известно? А, вот: оба зятя ее сестры, Н. Н. Шереметевой, после восстания были арестованы, и Надаржинская во время следствия, когда все было окружено строжайшей тайной, писала шефу жандармов и начальнику III отделения А. Х. Бенкендорфу и даже его жене, умоляя со-

общить о судьбе обоих (один — декабрист И. Д. Якушкин, который, по Пушкину, «обнажал цареубийственный кинжал», другой — М. Н. Муравьев, будущий «Вешатель»). Этим она заслужила отзыв Бенкендорфа как «умная и ловкая» женщина, о которой правительство имеет «весьма невыгодное мнение». Не говорит ли интерес Надаржинской к нашему письму о возможной его связи с заговором декабристов?

Однако пора хотя бы понять, кто автор письма и кто его адресат. К счастью, где-то в недрах письма нашлось обращение: «мой любезнейший и почтеннейший В. Г.». Инициалы — уже много. Бегу по тексту: кого еще он упоминает? Вот, нашла: автор встретил «нашего умного любезного Перовского». Что за Перовский мог быть в то время в Таганроге? Нахожу: управляющий Харьковским учебным округом А. А. Перовский (будущий писатель А. Погорельский) приехал в те дни в Таганрог привести в порядок местную гимназию к приезду царя. Выходит, что круг поиска сужается до высших чинов Харьковской губернской администрации. Человек с инициалами В. Г. там есть, и он меня устраивает, потому что это не кто иной, как харьковский гражданский губернатор Василий Гаврилович Муратов.

А автор письма? «Я сочлен вашего домашнего общества, <...> не выкидывайте меня из памяти своей, в наши лета с вами переменяться не можно, останемся же как были»; в конце — просьба переотправить письмо к жене автора «при двух строчках» от адресата. Значит, надо искать человека, имеющего самые короткие отношения с губернатором, и при этом такого, кому общественное положение позволяет получить «приватный вход в кабинет царя». А что, если это — вице-губернатор? Д. А. Донец-Захаржевский?

Смотрю родословие: он — представитель двух старинных и богатых родов, казачьего и польского, его родной брат Григорий — комендант Зимнего дворца, скоро примет участие в подавлении восстания на Сенатской площади, сестра Елизавета Андреевна замужем за А. Х. Бенкендорфом. Годится. В пользу моего предположения работают и его контакты в Таганроге: он упоминает Арнольди (это генерал-майор, комендант Таганрога), ему обещают лечение Вилие (это лейб-медик двора) и Рейнгольд (он личный врач императрицы), автор выслушивает комплименты от начальника Главного штаба Дибича, а сам язвит по поводу его фигуры: «Карла».

Ну вот, и автор письма, кажется, определился. «Кажется» — потому что, как бы я ни была уверена в результатах своего розыска, это все-таки только предположение. Моя задача архивиста выполнена. На обложке, в которую ляжет письмо, в каталоге и в статье «Архив и коллекция И. Е. Бецкого» в «Записках О. Р.» исследователь найдет все необходимые сведения: имена автора и адресата и интригующее сочетание времени и места.

И все же, с чем он приватно ходил к царю? Что означает эта «еще не поднятая завеса»? Могло ли быть, что в руках автора письма действительно было какое-то сообщение о тайных обществах? Ведь именно в это время действовал провокатор и доносчик Шервуд (которого следующий царь наградил прибавкой к фамилии «Верный»), в своих разъездах по сбору сведений побывавший и в Харькове.

А может, ничего этого и не было и тайные общества ни при чем? Но ведь что-то было! А главное, были они все, и Надаржинская, и ее сестра, Надежда Николаевна Шере-

метева, «набожная до чрезвычайности». Она обожала своего зятя-декабриста, считала его, безбожника, «едва ли не лучшим христианином во всем мире», хранила под полом его архив и до самой своей смерти раз в неделю писала ему в Сибирь письма. Не получив хорошего образования, с плохим французским, она, тем не менее, состояла в постоянной переписке с Жуковским и Гоголем и числила их среди первых своих друзей. (Прочитав обо всем этом у ее внука Е. И. Якушкина, я поняла, почему в письме из Таганрога так много зачеркиваний в поисках правильного слова: Надаржинская, как и ее сестра, плохо знала французский. Кстати, с половины письма ее почерк сменился чьим-то другим, без помарок.)

Но вот она, радость — ощутить себя живой среди них, понять вдруг, что обе сестры — урожденные Тютчевы, родной их брат И. Н. Тютчев — отец поэта; сопереживать будущему декабристу И. Д. Якушкину, когда он жалуется на невыносимую скуку обязательных, чтобы не обидеть тещу, воскресных обедов у ее брата, и — хохотать, когда потом, в каземате, принимая по воскресеньям от солдата тарелку тюремных щей, он «всегда вспоминал с удовольствием, что не пойдет обедать к Тютчевым».

Был сам Дмитрий Андреевич Донец-Захаржевский, на которого я тогда не обратила должного внимания, а он личность замечательная (теперь легко, есть интернет): последний представитель своего знаменитого рода, в 1828—1831 годах екатеринославский губернатор (в эту губернию входил и Таганрог. Пишу, и мелькает догадка: уж не об этом ли назначении его губернатором шла речь тогда, 15 сентября, в кабинете царя, и не об этом ли то загадочное «доколе

дождусь?»). А еще он — общественный деятель, меценат, известный энтомолог, член Российской Академии наук, есть даже вид жуков, названный его именем.

А как интересно родство его жены, Елены Александровны, от которой, очевидно, Надаржинская и получила оригинал письма! Ее родная тетка по отцу — графиня Екатерина Николаевна Самойлова, у которой от первого брака сын — Н. Н. Раевский, герой войны 1812 года, а внучка — Мария Волконская; ее сын от второго брака — декабрист В. Л. Давыдов. Сама же Екатерина Николаевна — хозяйка Каменки «тенистой», в которой жилал Пушкин и где проходили заседания Каменской управы Южного общества декабристов.

* * *

Перенесемся в день сегодняшний. С моей загадкой письма из Таганрога — о «нашем солнце», которое вот-вот неизвестно куда «закатится», приключилась история. Сейчас расскажу. Только начав писать, я остановилась на этих словах и задумалась: а не слишком ли смелое я делаю предположение об их связи с «уходом» царя? Мог ли автор письма так рано, в сентябре, знать о намерениях царя? Не следует ли смягчить формулировку? Погруженная в эти мысли, я пошла на прогулку. И тут, хотите верьте, хотите — нет...

В этой книге я уже говорила, что множество невероятных совпадений на израильской земле не раз наводило на размышления о пригляде свыше. Так и теперь...

Но сначала я должна сделать лирическое отступление, чтобы пожаловаться на трудность расставания с книж-

ной культурой, в которой мы выросли. Все чаще около контейнеров для макулатуры и даже прямо на улицах на ограждениях вдоль тротуаров стали появляться ящики с выброшенными книгами. Кладут аккуратно, надеясь, что кто-нибудь хоть что-то спасет и не все книги уйдут под дождь или в молотилку. Я и сама пребываю в страхе перед необходимостью избавиться от привезенных сюда книг, заполняющих весь дом. Кому они будут нужны? Но как пройти мимо выброшенного, например, собрания сочинений Мережковского? Герцена? Грина, оставленного в Москве? И тащим в дом тяжеленные сумки, заталкиваем под кровати, пренебрегая сознанием того, что все это в тех же сумках очень скоро мы с мужем сами или наши дети отнесем к тому же контейнеру. Типичный когнитивный диссонанс. Что же будет-то?!

Так вот, только я вышла на прогулку с мыслями о «нашем солнце», которое вот-вот «закатится», как из очередного ящика прямо на меня посмотрел портрет императора Александра I. Книга лежала на самом верху и называлась «Царственный мистик. Император Александр I — Федор Кузьмич». Автор — князь В. В. Барятинский. Что тут можно сказать? Что это, как не пригляд свыше! Книга известная, 1912 года, современный репринт. Тогда я до нее не добралась, но сейчас прочла, не отрываясь, с восторгом наблюдая, как автор ведет свое историческое исследование. Он строит свои выводы на противоречиях в документах — секретных донесениях, частных письмах, дневниках — противоречиях, которые не видны поверхностному наблюдателю, но тем достовернее выводы, которые ложатся у него в стройную систему. Ювелирная работа!

Но мало этого, сразу под той книгой лежала еще одна. Свои «Главы из детства» я не закончила, собираюсь продолжать и, получается, это мое желание было услышано «наверху»: там лежал Лев Толстой, «Детство, отрочество, юность» — ободрение и напоминание. Лежал, чтобы я не сомневалась.

Что же касается письма из Таганрога, я убеждена, что оно должно попасть в поле зрения исследователей; сообщение о нем опубликовано в 40-м выпуске «Записок Отдела рукописей» за 1979 год.

* * *

Там, в Отделе рукописей, началась долгая история моей любви к барону Владимиру Ивановичу Штейнгейлю, декабристу. Он выпал мне по жребию: готовилась публикация переписки декабристов. Друзья его были лучшего разбора: Рылеев, Пущин, Батеньков... В Петербург он приехал устраивать сыновей в учебные заведения, и когда началось междоусобие, решил не уезжать и подождать, чем кончится. Он жил в одном доме с Рылеевым, в квартире которого обсуждались планы восстания. Ему было легко спуститься на один этаж вниз и оказаться среди заговорщиков. По просьбе Рылеева он написал «Приказ войскам» и «Манифест к русскому народу». В последнюю ночь перед восстанием он написал проект конституции. На площадь, правда, выходил только наблюдателем, и когда все было кончено, заказал экипаж и уехал в Москву. Там его и взяли.

Оказавшись в камере Петропавловской крепости, первым делом он попросил перо и бумагу и в длинном письме

к новому царю выложил все причины мятежа: политические, экономические и социальные. Человек выдающегося ума, он принял участие в восстании потому, что все его прежние попытки пробиться наверх со своими «записками», с планами, как помочь России, оказались безуспешными. Его не хотели слушать. А тут, как говорится, он нашел наконец время и место. Эта его «Письмо из крепости» до 1848 года лежало на столе Николая I; сразу стало распространяться в копиях и, как считали современники, «много повлияло на направление правительства в первый период царствования».

На следствии он старательно прятал свое участие в Обществе: как можно?! у меня же куча детей! (А детей в его 42 года Владимир Иванович имел восьмерых.) На что Николай I, не в пример будущему советскому правителю-злодею, ответил: «Твои дети будут мои дети». И правда, все дети Штейнгейля учились на казенный счет или были пансионерами высочайших особ. Ну, потом Шлиссельбургская крепость, сибирские остроги, ссылка в Тобольск... Но и там он выказал непозволительно много энергии и ума, тайно помогал губернатору составлять государственные бумаги, и когда это раскрылось, был сослан в глухую Тару. И оттуда, недавний колодник (кандалы свои он перелил в тяжелую трость, с которой не расставался), угрожал графу Орлову, тогдашнему шефу жандармов и начальнику III Отделения, требуя возврата в Тобольск: *«Подумайте, граф! Неужели важность христианского правительства состоит в непреклонном равнодушии к воплям обидимых!.. Есть же Бог... вечность... потомство... Страшно посмеяться ими!..»* И блистательно-высокомерно: *«С подобающим*

высокой особе Вашей уважением, Вашего сиятельства всепокорнейший страдалец Владимир Штейнгейль». Он знал, что за этим последует, это было все равно, что выйти на площадь. И последовало: будет сидеть в Таре, пока не «переменит беспокойный нрав свой» и не станет «излагать свои письма осторожней»; «в противном случае он будет подвергнут строгому взысканию».

Он всегда писал, будто для вечности, и если два тома, в которых собрано все, что он написал, это и есть его вечность, то моя жизнь не напрасна.

Эпиграфом к первому тому я взяла его слова, и сегодня звучащие как набат: «...нужно быть равнодушным ко всему, чтобы не пострадать с неравнодушными».

Семь лет, помимо служебной работы, я выискивала и переписывала своей рукой в архивах все, к нему относящееся; немудрено, что он мне снился.

Года три назад я заканчивала статью о нем для энциклопедии «Русские писатели», и приснился он мне вот как: он широко сидит в кресле, старый, белобородый, с медалью за войну 1812 года, как на последней фотографии. В руках у него раскрытая книга. Я сижу рядом, слушаю то необыкновенно важное, что он говорит мне, и вижу, как его слова ложатся шрифтом на белый лист книги. Я проснулась и несколько мгновений еще слышала его голос и помнила сказанное им.

Маале-Адумим, май 2016

Содержание

Вместо предисловия	5
Еще одна жизнь	9
Главы из детства	111
Любовь к «Двум капитанам»	157
Судьба из рук Петра Андреевича	177
Еще немного о КГБ, ГБЛ и еврейском вопросе	201
Радости архивиста	209

Литературно-художественное издание

Наталья Виловна Зейфман

ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ
документальные повести


Редактор
Татьяна Тимакова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 29.08.2016
Формат 70x108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Charter. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,8.
Тираж 1000 экз. Заказ № 694.

«Время»
117105, Москва, Варшавское шоссе, 3
<http://books.vremya.ru>
letter@books.vremya.ru
(495) 954 10 82

Отпечатано в соответствии
с предоставленным оригинал-макетом
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>, book@uralprint.ru

A sepia-toned photograph of a street scene. In the foreground, a paved path leads towards a brick wall with a gate. Two people, a man and a woman, are walking away from the camera on the path. The background features bare trees and a large building. The overall mood is nostalgic and historical.

Наталия Зейфман

Еще *одна*
ЖИЗНЬ

документальный
роман